НОЙ

ՆՈՅ

18

ISBN 5-7270-0012-2

Обложка художника
Марка Ибшмана

Набор, вёрстка, оформление выполнены
в издательстве "НОЙ"

Лицензия на издательскую деятельность
ЛР № 020338 от 26.12.1991 г.

Формат 60x84/16
Бумага офсетная
Заказ 49

Цена свободная
Тираж 999 экз.

113534, г. Москва, а/я 11

ТОО «Типография ПЭМ»



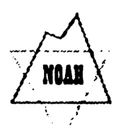


НОЙ

АРМЯНО-ЕВРЕЙСКИЙ ВЕСТНИК

ИЗДАТЕЛЬ
И ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

ВАРДВАН ВАРЖАПЕТЯН



МОСКВА
1996



СПАСИБО
ВЫ ОЧЕНЬ ПОМОГЛИ ВЕСТНИКУ «НОЙ»!

Александр АЛАВЕРДЯН
Мария АННИНСКАЯ
Мария АРБАТОВА
Марина АРОНЗОН
Юрий АРУСТАМОВ
Ирина АРУСТАМОВА
Анаида БЕСТАВАШВИЛИ
Александр БОВИН
Матвей ГЕЙЗЕР
Семён ГРИНБЕРГ
Владимир ГИРШОВИЧ
Светлана ГРОМОВА
Игорь ГУБЕРМАН
Ион ДЕГЕН
Даниил ДОМБРОВСКИЙ
Татьяна КАЛЕЦКАЯ
Татьяна КОНОНЕНКО
Юрий КОНОНЕНКО
Яков КУМОК
Григорий ОСИПОВ
Михаил ПОЛАДЯН
Ефим ФАВЕЛЮКИС
Нора ШАПИРО
Клара ЭЛЬБЕРТ

Эфраим КИШОН

< МОЯ СТРАНА >

Это — страна, до того маленькая, что её территории на картах мира не хватит даже на то, чтобы вывести её название.

Это — единственная страна на свете, созданная налогоплательщиками из-за рубежа.

Это — страна неограниченных границ.

Это — самая тесная страна на свете: это — страна мозолей.

Это — страна, где родители учатся родному языку у своих детей.

Это — страна, где каждый гражданин волен высказать своё мнение, но нет закона, который обязывал кого-нибудь выслушивать.

Это — страна, где маленькая записка может свернуть горы, но горы, увы, рождают одни лишь речи.

Это — страна, где никто не хочет работать, оттого и воздвигают новый город за каких-нибудь три дня, а затем бездельничают до конца недели.

Это — страна, где не верят в чудеса, но их всё-таки принимают в расчёт.

Это — страна, где каждый человек — солдат, но не смотря на это и каждый солдат — человек.

Это — единственная страна на свете, в которой я могу жить.

Это — моя страна.

перевод с иврита

Уильям САРОЯН

< МОЯ ВЕРА >

Я работал один год на винограднике с армянином по имени Назарет Гарасян, в прошлом он был борцом; он принадлежал к числу тех немногих людей, у кого я чему-то научился, потому что он часто делал передых и говорил:

— Если противник захватил тебя, попытайся почувствовать ритм работы его мышц, понять, когда они у него напряжены, а когда расслаблены, и, улучив минуту расслабления, вырывайся изо всех сил, и, уверен, ты сможешь вырваться.

— Да, сэр, — обычно отвечал я, — но вырываясь, можно ведь макушкой угодить ему по челюсти и нарушить правила игры.

— Нет, сэр, — обычно отвечал мне бывший борец. — Делая рывок и высвобождаясь, ты тем самым автоматически отводишь его от своей головы; но предположим, всё-таки его подбородок оказывается на уровне твоей макушки и ты действительно наносишь ему удар по челюсти, тем лучше, мой мальчик. Не беспокойся, ты едва ли почувствуешь силу удара, а он очень даже вероятно упадёт замертво от удара в челюсть.

— Да, сэр, — обычно отвечал я, — я запомню ваш совет.

А потом мы могли молчать минут десять, даже двадцать, а то и целый час, потому что обработка мускатного винограда требует внимания, да к тому же, завороженные красотой винограда, мы предпочитали молчать.

Но рано или поздно борец-армянин выпрямлялся и говорил:

— Если ты внизу, а он навис над тобой, и вот-вот твои лопатки коснуться мата, и он выиграет раунд, да поможет тебе Бог, вот и всё, что я могу сказать.

— Да, конечно, — обычно отвечал я, — но неужели ничего нельзя сделать, чтобы помешать ему положить меня на лопатки?

— Почему же, можно, — обычно отвечал старый борец, — но это не так уж легко, почти невозможно, всё в борьбе происходит очень быстро, а когда ты теряешь равновесие, где взять силы для контратаки. Остаётся выход, но это уже скорее искусство, чем спорт, лично мне уда-

лось сделать этот финт за свою долгую карьеру профессионального борца раз пять — из ста случаев.

— А что же это за выход?— обычно спрашивал я.

— Исчезнуть, — отвечал Назарет Гарасян. — Именно так. Исчезнуть, выскользнуть из-под противника. Как это удаётся, я никогда не мог понять, хотя изучал вопрос со всех точек зрения. Я весил, когда боролся, двести сорок фунтов, был сплошные мускулы и хрящи, а как тут исчезнешь?! И тем не менее именно это я проделывал по крайней мере раз пять. Я лежал уже на земле, а мой противник — на мне. Однажды я боролся с самим Льюисом Душителем, другой раз — с Джимми Лондосом, а ещё со Станиславом Шабиско, и внезапно я оказывался не на спине, а сверху, стоял на ногах, а мой противник поворачивался, чтобы сообразить, куда же я делся. И всякий раз спрашивал себя: "Ну как же это получается?" А потом бой продолжался, и я выигрывал. В те времена из трёх поединков два были отменные, думаю, ты и сам это помнишь.

— Да, — обычно отвечал я, — да, я, конечно же, помню. Но после того как вы столько размышляли над всем этим, к какому выводу вы пришли? Как же у вас получалось, что вы вот так исчезали? Что же это за удивительное исчезновение? Вы ведь не нарушали правил?

— Знаешь, — сказал Назарет, — в конце концов я пришёл к выводу, что дело тут в христианстве. Ведь Христос тоже исчезал. Это — другое чудо. Ведь неспроста же мы первые приняли Иисуса. Дело тут в христианстве.

— Конечно, сэр, — обычно отвечал я, — но ведь ваши противники тоже были христиане, все как один.

Борец подымал на меня глаза, внимательно выслушивал меня, а потом говорил:

— Это правда. Но ведь мы, армяне, христиане, вот в чём дело. Иисус, конечно, поможет и христианам ирландцам, грекам, полякам, но только после того, как поможет армянам.

Мне так и не представился случай воспользоваться советом борца.

Во всяком случае, мне так кажется.

Но кто сказал, что я христианин? Что касается меня, то я считаю — или принимаешь религию, или нет, правда, отвергая её полностью, ты погружаешься в пустоту. Случайные встречи с живыми святыми и сукиными детьми подстерегают нас на каждом шагу.

перевод с английского А.Николаевской

Карен ТОПЧЯН

АРМЯНЕ И ЕВРЕИ

Вряд ли существуют в мире два других народа, судьбы и ментальность которых были бы столь же схожи, как у евреев и армян. Более того, представления об этих народах — от расхожих до "научных" — как в собственной среде, так и у иных наций — во многом совпадают, Проще говоря, в обыденном сознании между этими двумя народами существует некая связь — пусть не всегда рационально объяснимая, но очевидная. Мандельштам назвал Армению "младшей сестрой Земли Иудейской", вероятно, исходя из того, что армян всегда называли "евреями Востока". Причём очевидно, что эту характеристику придумали на Западе, в Европе.

Ещё в I веке до нашей эры царь Великой Армении Тигран II Великий расширил пределы своей империи далеко на юг и юго-запад, в результате чего вся Палестина (на очень короткое, правда, время) вошла в пределы армянского царства. Для строительства и обустройства своей новой столицы Тигранакерта (ныне Диарбекир в современной Турции) армянский царь переселил сюда из Палестины несколько десятков тысяч евреев-ремесленников. Постепенно ассимилировавшись и слившись с местным населением, они, конечно, способствовали появлению в какой-то степени "кровного родства" между семитами и армянами, которые остаются весьма далёкими друг от друга по своим этническим корням. Считают, кстати, что именно с тех времён существует довольно распространённая в Армении фамилия Капланян. Есть также данные о еврейском происхождении известнейшей княжеской и царской династии Багратидов, из среды которых вышло немало военачальников, государственных деятелей, в том числе и царей армянских.

Нет смысла говорить о том, какую основополагающую роль играл и играет иудаизм в самосохранении еврейской "самости", — это общеизвестно. Но вот с армянами-христианами, на первый взгляд, дело обстоит совершенно непонятно.

Казалось бы, армянам-христианам религия должна была помочь противостоять ассимиляционному давлению только со стороны могущественных мусульманских соседей. Но вот парадокс — даже в окружении христианских народов (грузин, русских, французов, американцев) армянская диаспора не ассимилируется, не исчезает и сохраняет своё религиозное и национальное своеобразие. Но парадокса здесь никакого

нет. Дело в том, что армяне исповедуют особое направление христианства — монофизитство, а оно отличается явной спецификой и не свойственно большинству других христианских наций. Из более или менее крупных народов христианство монофизитского толка исповедуют лишь эфиопы (есть ещё несколько малочисленных монофизитских церквей на Ближнем Востоке), да и тех в VI веке крестили именно армянские миссионеры.

Разумеется, в истории обоих "реликтовых" народов много совершенно разных, не похожих друг на друга страниц. Но очень много и схожего. Обе нации ещё в глубокой древности пережили период расцвета своей государственности, тысячелетиями играли более чем заметную роль в тогдашней ойкумене, заставляя считаться с собой Египет, Вавилон, хеттов, ассирийцев, персов, греков и римлян. Затем наступил длительный период упадка. У евреев он начался раньше и длился дольше, чем у армян. Но результат был один — потеря государственной независимости, массовый исход с родины и расселение. До сих пор преобладающая часть и евреев, и армян живёт вне своих национальных государств. Наличие огромных диаспор — ещё одна черта, роднящая оба народа. И всё-таки при ближайшем рассмотрении оказывается, что роль диаспоры в их жизни существенно разнится.

У нынешнего Израиля, возродившегося, благодаря многолетним и целенаправленным усилиям еврейской диаспоры Европы и Америки, нет видимых проблем с зарубежными соотечественниками. Этого, увы, не скажешь об Армении. Главная партия армянской диаспоры — "Дашнакцутюн" — весьма прохладно, мягко говоря, относится к политике нынешних властей Армении и к их идеологии. Результат — диаспора, во многом контролируемая "Дашнакцутюн", по существу, не вносит в становление молодой армянской государственности того вклада, который вносить бы могла. Но при всех этих различиях, многие аспекты текущей политической жизни обоих государств как внешние, так и внутренние настолько похожи, что заставляют некоторых аналитиков в Ереване предполагать, что "Армения может стать вторым Израилем".

И, действительно, с момента возникновения обоих нынешних государств — и Израиль, и Армения были вынуждены вступить в противостояние с соседями, причём не по своей вине. До сих пор Израилю и Армении приходится, с одной стороны, преодолевать враждебность соседних стран, а с другой — обуздывать собственных "ястребов", стремящихся к силовому преодолению региональных противоречий. Причём тот факт, что соседи в настоящее время уже не угрожают (по крайней мере на словах) самому существованию как Израиля, так и Армении, в первую очередь связан с военными успехами евреев и армян. Обе на-

ции, вопреки распространённому мнению, доказали, что они способны рождать отличных солдат и блестящих военачальников. Однако войны не могут длиться вечно. В результате, Израиль ищет пути мирного урегулирования с арабами, активизируется миротворческий процесс и вокруг проблемы Нагорного Карабаха.

В Армении многие бы хотели, чтобы их страна в той или иной степени повторила путь Израиля, который сумел в экстремальных условиях укрепить государственность, создать мощную армию и завидную (по местным условиям) экономику. Пока что Армения идёт именно по этому пути, создавая все необходимые элементы государственности и рыночной экономики в условиях многолетней блокады и жесточайшего энергетического кризиса. Но на этом ситуационное сходство заканчивается. В отличие от Израиля, имеющего верного и безусловно надёжного союзника в лице США, Армения на международной арене вынуждена тонко лавировать. Ведь Еревану приходится досконально учитывать то обстоятельство, что Закавказье, пожалуй, как ни одно другое место на Земном шаре, превратилось в регион сложнейшего переплетения и во многих случаях прямого столкновения интересов множества держав, прежде всего России, США, Турции и Ирана.

Удивительно, но факт: при том, что на так называемом бытовом уровне сознания армяне и евреи очень неплохо, с уважением и сочувствием относятся друг к другу, — ни в "быту", ни в отношениях между двумя государствами особого стремления к установлению тесных дружественных связей не видно. Не случайно, что, имея многочисленные общины за пределами исторической родины, евреи никогда особо не стремились поселяться в Армении, а армяне — в Израиле (Палестине). Хотя во всех других странах Ближнего и Среднего Востока всегда было довольно много и тех, и других. Можно предположить, что на "бытовом" уровне сила взаимной симпатии уравновешивается силой взаимного отторжения, обусловленной заботой о собственных интересах. Дело в том, что исторически армяне и евреи занимали и занимают одинаковые социально-экономические ниши в тех обществах, где им приходилось жить, в том числе и в борьбе за расположение власть предержащих и за влияние на них.

Будучи во многом похожи и, по существу, решая почти одинаковые задачи, Израиль и Армения пока не являются партнёрами. Это, впрочем, объяснимо. Израиль, имея главного противника в лице арабского мира, и особенно Сирии, стремится минимизировать исходящую оттуда угрозу, укрепляя связи с историческим соперником арабов — Турцией. Поскольку противоречия между Ереваном и Анкарой общеизвестны и, скорее всего ещё долго (имеется в виду геноцид более полу-

тора миллионов армян в начале XX века в османской Турции, не признание этого факта властями нынешней Турции, поддерживающей к тому же Азербайджан), многие армяне склонны с большой подозрительностью относиться к израильскому флирту с Анкарой. Добрых армянских чувств к Израилю не прибавляет и тот факт, что в последнее время израильтяне стремятся интенсивно развивать свои отношения с Азербайджаном. Помимо чисто экономических соображений, такое стремление объясняется необходимостью не допускать усиления влияния в этой стране фундаменталистского Ирана — непримиримого и жестокого врага Израиля.

Вот и получается, что два народа, пережившие в XX веке ужасный геноцид (трагедия холокоста и трагедия 1915-22 годов, во многом сформировавшие схожий психологический облик современных евреев и армян, — ещё одно немаловажное обстоятельство, "роднящее" два многострадальных народа), сумевшие возродить и отстоять свою независимость и никогда не отличавшиеся какой-либо предвзятостью по отношению друг к другу, в силу современных геополитических реалий оказались едва ли не по разные стороны баррикад.

Если Армения и Израиль решат свои проблемы с соседями, большинство препятствий для развития взаимовыгодного сотрудничества неизбежно отпадёт. И это лучшее доказательство того, что нынешняя дистанция между евреями и армянами объясняется не естественными "органическими" причинами, а лишь привходящими политическими обстоятельствами.

Элиэзер ГИРШЕНЗОН

ЕВРЕИ И АРМЯНЕ: РЯДОМ, НО НЕ ВМЕСТЕ

Осип Мандельштам как-то назвал Армению "младшей сестрой земли Иудейской". Сегодня очень многие вкладывают особый смысл в параллели между двумя нашими странами и народами. А ведь действительно есть параллели... В своей новейшей истории евреи и армяне, как две параллельные линии, никогда не пересекались. В бывшем Советском Союзе в каждой национальной республике жили "свои" евреи: украинские, молдавские, грузинские, среднеазиатские. Конечно, всё это шло из истории более старой, чем советская, и во многом определялось как

"страшным наследием царизма" — чертой оседлости, так и традиционным общинным проживанием, скажем, бухарских или грузинских евреев на земле своих дедов и прадедов. Но в солнечной Армении "своих" евреев не было! Были специалисты, приехавшие по распределению российских, украинских или белорусских ВУЗов и оставшиеся насовсем; были эвакуаированные, попавшие в Армению в году войны, были отдельные добровольные переселенцы. Но коренных евреев здесь не было отродясь. Странно, не правда ли?

Карен Топчан, рассуждая об истории взаимоотношений наших народов, напомнил, что ещё в I веке до нашей эры царь Великой Армении Тигран Второй расширил пределы своей империи далеко на юг и юго-запад, в результате чего несчастная Палестина на короткое время вошла в пределы армянского царства. Для строительства своей столицы Тигранакерта царь вывез из Палестины несколько десятков тысяч искусных мастеров-евреев. "Постепенно ассимилировавшись и слившись с местным населением, — пишет автор, — они, конечно, способствовали появлению в какой-то степени "кровного родства" между семитами и армянами." Заключение немного сомнительное, так как в те древние времена (в отличие от современных) ассимиляция и слияние были не самой характерной для иудеев формой взаимоотношений с другими народами. Более того, где бы они ни оказывались, они всеми силами сохраняли свою "самость". И пример, который приводит автор статьи, кажется не очень убедительным: Топчян сообщает про поверье, что именно с тех времён в Армении распространена "еврейская" фамилия Капланян. Вряд ли в первом веке до нашей эры иудеи носили имена, созвучные типичной ашкеназийской фамилии Каплан или Каплун — это очень позднее ономастическое образование от европейского названия домашней птицы. С другой стороны, действительно есть данные о еврейском происхождении известнейшей княжеской и царской династии армянских Багратидов, из среды которых вышло немало военачальников, государственных деятелей, в том числе и цари Ашот, Смбат, Гагик и другие. Есть кем и чем гордиться.

Прав Топчян и в том, что исторические судьбы армян и евреев очень часто совершали похожие повороты. Обе нации пережили в глубокой древности период яркого расцвета своей государственности, тысячелетиями играли более чем заметную роль на Востоке и Западе, заставляя считаться с собой египтян и вавилонян, ассирийцев и персов, греков и римлян. А затем наступил бесконечно долгий период упадка, уход с родной земли и рассеяние, сопровождавшиеся жестокими гонениями как на евреев, так и на армян, где бы они ни жили среди чужих народов.

Евреи исповедуют религию, которой нет ни у какого другого народа — в этом смысле у иудеев нет и никогда не было "союзников". Но почему же армян, самых что ни на есть христиан, не жаловали даже их единоверцы? Дело в том, что армяне — не просто христиане. Они придерживаются особого направления этой веры — монофизитства, единосущности. У монофизитов Иисус Христос — бог, рождённый земной женщиной, а не богочеловек, как у католиков, протестантов или православных. Объединение двух начал во Христе они трактуют как поглощение человеческого начала божественным. Впрочем, не будем углубляться в этот вопрос, отметим только, что армян не очень-то любили даже христиане. Эта прохладца взаимна: живя в окружении других народов — в России и Франции, Германии и США — армянская диаспора не ассимилируется, сохраняя своё национальное, а в среде верующих — и религиозное своеобразие. Для истовых католиков, протестантов и православных армяне, как замечает Топчян, — едва ли не еретики. Кстати, в Израиле верующие армяне нашли бы очень много своих абсолютных единоверцев: эфиопские христиане также исповедуют монофизитство. Их, ставших волей нашего МВД возвращенцами на историческую (?) родину (???), во много раз больше, чем иерусалимских армян, живущих на этой земле с незапамятных времён.

История XX века знает два катастрофических события в жизни еврейского и армянского народов: холокост и трагедия 1915-22 гг. И в той, и в другой страшной смертью погибли миллионы евреев и армян. Это, казалось бы, должно роднить два народа как ничто другое. Были трагедии и меньшего масштаба, если резня и погромы вообще поддаются холодному измерению.

Пример тому — начало века в Российской империи, 6-7 апреля 1903 года Кишинёв и окрестности стали местом большого еврейского погрома, во время которого 50 человек были убиты и несколько сот получили ранения. 6-10 февраля 1905 года в Баку резали армян, и число жертв перевалило за 700 человек. Азербайджанцы (их в те времена почему-то называли татарами) громили армянские дома и лавки, безжалостно убивали армян, включая женщин, детей и стариков. Власти взирали как на кишинёвский погром, так и на бакинскую резню, спокойно и невозмутимо. Более того, местная имперская администрация натравливала мусульман на армян, называя последних "врагами царя", приписывая им желание отделиться от России, "иметь своего царя и вырезать татар". Бакинские события стали повторением и как бы продолжением кишинёвских: и там и там более защищённое царской властью население убивало и грабило тех, кто был беззащитен и нежелателен.

И вот что любопытно: одними из первых за бакинских армян вступились влиятельные евреи. 9 февраля 1905 года в адрес главы кабинета министров была отправлена телеграмма следующего содержания:

"Резня и грабежи, продолжающиеся в городе Баку уже третий день на глазах бездействующей полиции и войск, грозят перейти на заводской район. Наблюдаем всё возрастающее возбуждение рабочих заводского района и населения окружающих деревень, что неизбежно приведёт к кровавым побоищам и разгрому заводского имущества, если будет продолжаться бездействие властей. Просим Ваше превосходительство сделать надлежащее внушение для прекращения резни".

Подписи: Гухман, управляющий Каспийско-Черноморскими заводами; Гурвич, управляющий заводом Лианозова; Елин, заведующий масляным заводом Шибаева; Гинзбург, управляющий заводом Быховского; Гинис, помощник управляющего Каспийско-Черноморскими заводами и др.

Казалось бы, богатые евреи-промышленники просто беспокоятся за своё или своих партнёров имущество. Но это была первая телеграмма. Чрезвычайный съезд промышленников Баку, на котором еврейское представительство было весьма значительным, принял 13 февраля очень смелую по тем временам резолюцию. Вот лишь некоторые выдержки из неё:

"Всё поведение громил и убийц приводит к убеждению, что: а) тёмная мусульманская масса начала и продолжала бойню в уверенности остаться безнаказанной, б) что этой бойне предшествовала подготовка и в) что всем этим делом руководила опытная полицейская рука, это находит подтверждение также и в факте быстрой, почти моментальной, остановки резни, как бы по слову команды... Так как при существующем строе России факты, подобные кишинёвским и бакинским, непредотвратимы в силу отсутствия свободы слова, собраний, гарантий прав личности, так как с другой стороны, правительство оказывается косвенно и прямо виновником в этих фактах, так как оно органически неспособно изменить существующий строй, ...а внутри страны производит избиение граждан, то единственным выходом из непереносимого больше положения нашей родины является созыв Учредительного Собрания народных представителей... И здесь у не закрывшихся ещё могил сотен убитых, у дымящейся ещё крови истерзанных женщин, детей и беспомощных стариков, мы должны поклясться употребить все свои силы на дело спасения родины..."

Известно, что многие армяне, как и евреи, кинулись в революцию со всей страстностью представителей наиболее угнетённых наций. За что и поплатились как в первые годы после гражданской войны, так и в кровавые тридцатые года. Их уничтожали как сделавших своё дело и теперь мешающих новообращённых. В советском правительстве сталинского призыва у евреев и армян было всего по одному представителю — Каганович и Микоян. В последующих евреев не было вообще, а Анастас Иванович ("От Ильича до Ильича — без инфаркта и паралича") всегда являл собой необъяснимый политический феномен.

Советская власть сознательно развела линии судеб двух народов. У армян появилась своя союзная республика, а евреям в национальной государственности в рамках СССР было отказано. (Считать Еврейскую автономную область, под которую "отец народов" отвёл лоскут земли посреди дальневосточных гнилых болот, "малой родиной" советских евреев было бы по меньшей мере несерьёзно).

Пусть Армянская ССР и не полностью отражала чаяния армянского народа и была лишь малой частью их национального очага, но всё же у этой нации было куда обратить взоры. Армяне продолжали жить по всему Союзу, но не были "вечными квартирантами", как евреи. У них были столица, герб и флаг, марионеточное, как во всех союзных и автономных республиках, но всё же своё правительство, свои университеты, академия наук, театр и пр. И самое главное — у любого армянина, не обязательно живущего в Армении, было на просторах советской империи место, где он по праву мог называться "представителем коренной национальности" и пользоваться в связи с этим ощутимыми льготами и преимуществами. У евреев, согласно "приговору" коммунистического режима, ничего подобного не было. Антисемитизм как форма советского расизма был принят на государственном уровне. Осторожному отношению к армянам власти названия не придумали.

Тем не менее, армяне (не считая той небольшой их части, что жила непосредственно в Армянской ССР) и евреи занимали в Союзе примерно одинаковые социально-экономические ниши. Например, в науке громкие армянские имена звучали почти так же часто, как еврейские, особенно в физике, математике и медицине. Кинематограф тоже был и остаётся "ареной" постоянного соперничества талантливых евреев и армян. В ведущих отраслях промышленности привычными для представителей обоих народов были вторые роли, но именно из них выходили замы, которые руководили своими шефами-назначенцами. Даже в теневой экономике наиболее авторитетными личностями были именно евреи и армяне. Они всегда конкурировали на необъятном "игровом поле" под названием Советский Союз, но эта конкуренция никогда не перерастала

во вражду. Что-то потаённое, необъяснимое, идущее из далёкого и не очень далёкого прошлого останавливало их, не давая злобиться друг на друга. Многие евреи искренне дружили с армянами, нередки были и межнациональные браки (как правило, более удачные, чем с другими инородцами), но полная солидарность двух вечно гонимых народов так и не возникла. Карен Топчян очень точно сформулировал это положение: "Сила взаимной симпатии евреев и армян уравновешивается силой взаимного отторжения, обусловленной заботой о собственных интересах",

На руинах Союза ССР возникло первое в этом тысячелетии армянское государство. И едва ли не первым, что в мире по этому поводу сказали, было: "Армения может стать вторым Израилем".

Возникла новая, неожиданная параллель между двумя нашими народами. Снова всё вроде бы сходилось: сильная зарубежная диаспора у тех и других, доказанная способность защищать свои интересы и противостоять враждебному окружению, обострённое чувство патриотизма, завидное распределение "хороших мозгов" на единицу территории и т.д. Но сходства эти не стали гарантией полного совпадения, да, наверное, и не могли стать.

Многомиллионная армянская диаспора без особого энтузиазма восприняла образование самостоятельного армянского государства. Французские, американские, западногерманские армяне не могут считать Армению своим "подшефным" образованием, она не принимали участия в достижении государственной независимости. Кроме того, очень многие зарубежные соотечественники традиционно поддерживают партию "Дашнакцутюн", которая неугодна нынешним правителям Армении.

Главная партия армянской диаспоры контролирует не только умонастроения армян Европы и США, но отчасти и их капиталы. И сегодня в Армении не могут вслед за Остапом Бендером провозгласить: "Заграница нам поможет!"

Израилю же помогали, помогают и будут помогать. Можно серьёзно поспорить насчёт того, благотворно или пагубно это влияет на формирование израильского национального характера, но факт остаётся фактом: еврейская диаспора о нашей стране печётся и считает её своим детищем. И тут Армении, которой предрекают судьбу Израиля, есть из-за чего нам завидовать. Кроме того, у Израиля есть постоянный "патрон" в лице Соединённых Штатов, достаточно надёжный благодаря, в частности, влиятельному американскому еврейству. Россия же, объявившая себя главным стратегическим партнёром и союзником Армении, может в любой трудный для неё момент развернуться на 180 градусов — то есть к нефтеносному Азербайджану.

Израиль пополнился после развала Союза ССР полумиллионом новых граждан, добровольно и сознательно переселившихся в еврейскую страну. В Армению же, в которую, когда она в своё время стала советской республикой, перебирались армяне из Ирана, Азербайджана, даже Ливана, ныне никто в массовом порядке не едет. Не то что американские или западноевропейские армяне — даже российские не спешат кинуться в объятия "исторической родины".

То ли всё это, то ли довольно тесное сотрудничество Израиля с ненавидимой армянами Турцией и сложившиеся хорошие отношения Армении со злейшим врагом израильтян фундаменталистским Ираном, то ли что-то до конца так и не осознанное мешают сотрудничеству наших стран, ставших национальными домами двух народов с очень похожими историческими судьбами.

Но надежды на то, что вечно параллельные линии когда-нибудь, вопреки законам геометрии, пересекутся, всё же есть. Поживём — увидим.

ПОПРАНИЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ

60% французов знают о факте геноцида армян 1915 года в Турции, а 75% — желали бы, чтобы этот факт официально был признан Францией. Согласно социологическому опросу, проведённому Институтом Луи Харриса для журнала "Ле нувель д'Армени" (3 апреля с.г.), 51% опрошенных не знает о том, что турецкое государство никогда официально не признавало факт геноцида армян.

79% французов, знающих о геноциде, считают, что заявления, ставящие под сомнение факт геноцида, должны быть наказаны по французским законам, аналогично тому, как наказываются заявления, ставящие под сомнение факт геноцида евреев в 1939-1945 гг.

После проведения опроса общественного мнения создан французский комитет по признанию геноцида армян, во главе его стал писатель, специалист по геостратегии **Жерар Шалианд**.

Напоминая о погромах и резне 1,5 млн. армян на территории Османской империи, этот комитет принял прошение с ходатайством "официально признать факт геноцида армян путём голосования в парламенте Франции, как это было сделано в Европарламенте 18 июня 1987 года".

— "Молчание государства по этому поводу свидетельствует о моральной и политической несостоятельности. **300.000** армянских беженцев и их потомки, проживающие во Франции, а так же широкие круги общественности воспринимают это как попрание справедливости", — подчеркнул г-н Шалианд.

Салман РУШДИ

САТАНИНСКИЕ СТИХИ

глава из романа

АНГЕЛ ДЖИБРИИЛ

- 1 -

— Чтобы родиться вновь, — пел Джибриил Фариушта[1], сверзаясь с небес, — сначала ты умри. Хо-джи! Хо-джи! Чтоб землю повидать, ты с неба упади. Тат-таа! Така-тан! Чтоб улыбнуться вновь, слезами изойди. И повздыхай вперёд, чтоб повезло в любви. Эй, господин, чтобы родиться вновь...

Ранним зимним утром, перед самым рассветом, то ли в первый день Нового года, то ли во второй, двое взрослых здоровых мужчин падали с высоты двадцати девяти тысяч футов и двух дюймов в Ла-Манш, не имея за спиной ни парашютов, ни крыльев.

— Говорю тебе, ты погибнешь. Я тебе говорю. Это я тебе говорю, — повторял другой, удаляясь от алебастровой луны, пока не закричал во весь голос, разгоняя тьму: — Чёрт тебя подери с твоими песенками. — Слова, вылетев у него изо рта, повисали белыми снежинками в ночном небе. — В кино ты только рот открывал, когда пели другие, а теперь, надо же, разорался.

Выкликая импровизированную газель[2], безголосый Джибриил, чего только не вытворял в лунном свете. То он плыл брасом, то баттерфляем, то сворачивался клубком, а то принимал геральдические позы, вставая во весь рост или, наоборот, ложась, короче говоря, пробовал себя на везёт — не везёт там, где царила сила притяжения.

---

[1] Герою дано значимое имя: Д ж и б р и и л — в мусульманской мифологии один из четырёх приближённых к Аллаху ангелов. Тождествен архангелу Гавриилу; по преданию, Джибриил по воле Аллаха явился Мохаммеду и передал текст Корана. Ф а р и ш т а — одно из названий ангелов в мусульманской мифологии, небожителей, сотворённых Аллахом из света.

[2] Г а з е л ь в арабо-персидской системе стихосложения — небольшое лирическое стихотворение.

— Э-ге-гей, Салад-баба[3], хорошо, что ты тоже тут! Привет тебе, старина Чамч. — От этих слов у падавшей головой вниз и с вытянутыми по швам руками привередливой тени в застёгнутом на все пуговицы костюме и в котелке, чудом удерживавшемся на голове, вытянулось лицо. — Эй, Черпачок, — крикнул Джибриил, и его приятель поморщился. — Лондон уже, бхай! Наконец-то! Надо же, внизу ни один ублюдок не знает, что его сейчас стукнет. Небось, думает, — метеор, молния или Божье мщение. Давай, детка, входим в плотные слои атмосферы. Джаррраааммм! Бам! Ничего себе, а? Ну и шум.

В плотные слои атмосферы — с громыханием. В сопровождении падающих звёзд. Начало начал. Отдалённое эхо первоначалия... Огромный реактивный самолёт "Бустан"[4], рейс АИ-420, ни с того, ни с сего развалился на куски над гигантским, гниющим, великолепным, снежно-белым, сверкающим городом, то ли Махагонни, то ли Вавилоном, то ли Альфавилем. Впрочем, Джибриил уже назвал его, и я не буду ничего менять. Лондон так Лондон. Столица вилайета[5] мигала и подмигивала сквозь тьму. Когда на высоте Гималаев бледное солнце ненадолго появилось в январском небе, одна точка исчезла с экранов радиолокаторов, и на месте катастрофы, случившейся выше Эвереста, появилось множество точек, падающих в молочно-белое море.

Кто я?

Кто ещё со мной?

Словно стручок, в котором созрели горошины, или яйцо, расколотое его тайным обитателем, самолёт развалился на две половинки, и из него высыпались, как табачинки из пересушенной сигары, два актёра, неугомонный Джибриил и застёгнутый на все пуговицы, с поджатыми губами Саладин Чамча. А вокруг них, впереди, сзади, наверху, внизу, устремлялись вниз выломанные кресла, наушники, подносы на колёсиках, рвотные мешки, билеты, бумажные стаканчики, простыни, кислородные маски. А ещё, поскольку на борту было немало мигрантов, да-да, то было и довольно много жён, допрошенных здравомыслящими служаками по поводу родинок на гениталиях их супругов, а также количества детей, в законном рождении которых у британского правительства были основания сомневаться, и все они тоже падали вперемешку с самолётной утварью. В воздухе парили душевные переживания, обрывочные воспоминания, забытые привычки, погребённые в недрах памяти родные языки, попранные желания, непереводимые шутки, неосуществимое будущее,

---

[3] Б а б а (*перс.*) — отец.

[4] Б у с т а н (*перс.*) — цветущий сад.

[5] В и л а й е т (*тур.*) — административный округ.

ненужные любови, потерянные значения пустых и громких слов: *земля, родина, дом*. Слегка оглушённые, Джибриил и Саладин падали словно младенцы, упущенные по небрежности аистом, только Чамча летел головой вниз, как полагается собирающемуся войти в родовой канал дитяти, и потому уже начинал злиться на нежелание своего товарища следовать общепринятым правилам. Пока Саладин пикировал, Фаришта обнимал руками и ногами воздух и был очень похож на переигрывающего клоуна. Внизу за облаками их ждали тихие воды Британского Рукава, где они должны были пройти через перевоплощение.

Разодет, как картинка
Я в японских ботинках
И в носках американских,
В узких брючках британских,
В русской шапке большой,
Но с индийскою душой.

— пел Джибриил, переводя старую песенку на английский с бессознательным почтением к гражданам приближающейся страны.

Облака, исходя пузырями, стремительно приближались, и, то ли из-за мистификации, устроенной могучими дождевыми тучами, сотрясавшими предрассветный воздух громовыми раскатами, словно работали молотобойцы, то ли из-за пения, когда один был поглощен этим занятием, а другой ругмя ругал его, то ли из-за оглушительного безумия, мгновенно озарившего их осознанием неизбежного... что бы там ни было, два человека Джибриилсаладин Фариштачамча, обречённые на долгий, но не бесконечный полёт, не заметили, как в них начался процесс мутации.

Мутации?

Да, сэр. И не случайно. На большой высоте, на мягком невидимом поле, сотворённом временем, а потом сотворившем время, ставшем одним из его закоулков, местом движения и войны, усыхания планет и силового вакуума, самым незащищённым и преходящим из всех, обманным, не бесконечным и метафоричным, — потому что если все всё бросают в воздух, то всякое может быть, — короче, наверху с двумя сумасшедшими клоунами произошли перемены, от которых возвеселилось бы сердце старого мистера Ламарка: под невероятным давлением изменились некоторые характеристики.

Какие характеристики? Медленнее, медленнее... Думаете, Сотворение свершилось в один миг? Никто не понял... Да поглядите сами на эту парочку! Замечаете что-нибудь необычное? Два темнокожих че-

ловека стремительно падают вниз, и в этом нет ничего такого... так вы думаете. Слишком высоко забрались, хотели прыгнуть выше головы, приблизиться к солнышку, так ведь?

Нет, не так. Слушайте.

Мистер Саладин Чамча, напуганный ором, исторгавшимся из уст Джибриила Фаришты, тоже ответил ему стихами. И Фаришта в непроглядном ночном небе услыхал песню, слова которой сочинил мистер Джеймс Томсон, родившийся в одна тысяча семисотом году и умерший в одна тысяча семьсот сорок восьмом году.

— ... Веленьем Господа, — пел Чамча, хотя его губы от холода стали ура-патриотических красно-бело-синих цветов, — из моря синего восстали.

В ужасе Фаришта запел громче, потом ещё громче о японских башмаках, русских шапках и не осквернённых субконтинентальных сердцах, однако не в его власти было заглушить рёв Саладина.

— Запели ангелы-хранители...

А теперь давайте поглядим правде в глаза. Они никак не могли слышать друг друга, тем более разговаривать, тем более соревноваться в пении. Чем ближе они были к земле, тем оглушительнее шумело вокруг. Но придётся примириться. Они слышали, разговаривали и соревновались.

Когда они спустились ещё ниже, у них от зимнего холода заиндевели ресницы и сердца едва не заледенели, так что они очнулись от прекрасного забытья, чтобы почти что осознать — это они так чудно поют, это они падают вниз среди детей и детишек, это их охватывает ужас от неминуемой участи, ожидающей их в скором будущем, и тут-то они обо что-то ударились, в чём-то утонули и превратились в льдышки в кипящих при нулевой температуре облаках.

Их занесло в длинный вертикальный туннель, и, всё ещё летевший вниз головой, боявшийся пошевелить пальцем, Чамча, увидев, как к нему через облачную воронку в кумачовой рубашке плывёт Джибриил Фаришта, хотел было крикнуть: "Держись от меня подальше," — но что-то помешало ему, затрепетавшее и завопившее у него внутри, и он, не произнеся ни звука, открыл объятия Фариште, вплывшему в них таким образом, что его голова оказалась прижатой к ногам Чамчи, а ноги — к голове, и они, крутясь, наподобие сдвоенного колеса телеги, продолжили путь к Стране Чудес, пробиваясь в белом тумане среди изменчивых теней: богов, становившихся быками, женщин, становившихся пауками, мужчин, становившихся волками. Странные существа прижимались к ним, гигантские цветы с женскими грудями раскрывались на мясистых стеблях, то тут, то там мелькали крылатые кошки и кентавры,

отчего Чамча решил, что он тоже облако и изменчив, как оно, поэтому превратился в существо с головой между одной пары ног и с другой парой ног, сжимавшей его длинную аристократическую шею. Однако у существа не было ни сил, ни времени на "высокие помыслы" и вообще ни на какие помыслы, когда оно увидело возникающую из облака и восседающую на летящем ковре величественную фигуру немолодой женщины в зелёном с золотом парчовом сари, с бриллиантом в носу и с лакированной причёской, которой не страшен никакой ветер.

— Рекха-купчиха! — обрадовался ей Джибриил. — Ты не нашла дорогу на небо или ещё что-то стряслось?

Ничего глупее нельзя было придумать для беседы с мёртвой женщиной. Впрочем, в его состоянии... А тут ещё Чамча, сжимая свои ноги, растерянно спросил:

— Какого чёрта?..

— Ты не видишь? — завопил Джибриил. — Ты не видишь проклятый бухарский ковёр?

Нет, нет, Джибо, раздался у него в ушах её шёпот, не спрашивай его. Только ты один меня видишь, а, может быть, ты сходишь с ума, как ты думаешь, негодяй, кусок свинячьего дерьма, мой любимый? Смерть есть смерть, возлюбленный мой, и я могу честно говорить, кто ты есть.

Облачная Рекха злобно бормотала ругательства, когда Джибриил вновь окликнул Чамчу:

— Черпачок! Ты её видишь или нет?

Саладин Чамча никого не видел и ничего не слышал, потому что она явилась только Джибриилу.

— Ты не должна была этого делать, — укорил он её. — Нет, сэр. Это грех. Большой грех.

Теперь ты читаешь мне нотации, расхохоталась она. Ничего себе, высоконравственный тип. А не ты ли меня бросил, напомнил её голос, щекоча ему мочку уха. Это ты, о луна моей любви, ты спрятался за облаком, а я, слепая, брошенная, жаждущая любви, осталась в темноте.

Он испугался.

— Чего ты хочешь? Нет, не говори. Уходи от меня.

Когда ты болел, я не могла видеться с тобой, боялась скандала, и ты знал, что я не могу, что ради тебя держусь подальше, а потом ты же наказал меня, бросил под предлогом обиды, спрятался за облаком. И ещё она, твоя ледяная женщина. Ублюдок. Теперь я мёртвая и забыла, что такое прощать. Проклинаю тебя, мой Джибриил, пусть твоя

жизнь превратиться в ад. Да-да, в ад, чёрт бы тебя побрал, исчадие ада. Возвращайся обратно, молокосос, в свою родную дыру.

Рекха прокляла его, и он вдруг услыхал стихи на незнакомом шипяще-свистящем языке, разобрав, как ему показалось и, может быть, показалось неправильно, одно-единственное повторяющееся имя *ал-Лат*[6]. Он покрепче ухватился за Чамчу, и они разорвали облачную пелену.

Ощущение скорости вернулось посвистом на испуганной ноте. Облачная крыша стремительно удалялась, водный пол приближался, и они смотрели на него, не закрывая глаз. Вопль, точно такой же вопль, какой потряс нутро Джибриила, сверзавшегося с небес, сорвался и с губ Чамчи. Луч солнца проник в его открытый рот и освободил его. Это случилось, когда Чамча и Фаришта ещё падали в изменчивых облаках и всё вокруг них находилось в непрерывном движении, не успевая обрести чётких очертаний, но луч солнца, пронзив Чамчу, освободил не только его голос.

— Лети, — взвизгнул Чамча. — Лети же.

И немного погодя, сам не понимая, откуда что берётся, он приказал:

— И пой.

Откуда берётся всё новое? Как оно рождается на свет?

Из каких делается совмещений, преобразований, соединений?

Как оно, невозможное и опасное, выживает? Какие компромиссы, какие сделки, какие предательства требуются, чтобы оно остановило тонущий корабль, карающего ангела, гильотину?

Неужели рождение — это всегда падение?

У ангелов есть крылья? Люди могут летать?

Когда мистер Саладин Чамча выпал из облаков над Ла-Маншем, он почувствовал, будто кто-то мёртвой хваткой держит его сердце, и понял, что ни за что не умрёт. Гораздо позже, уже стоя обеими ногами на твёрдой земле, он вдруг засомневался и объяснил неправдоподобный полёт помутнённым из-за взрыва сознанием, а своё и Джибриила спасение приписал слепой и глухой удаче. Но, на самом деле, он

---

[6] Лат, Манат, Узза — в древнеарабской мифологии три богини, иногда их называют сёстрами, дочерьми Аллаха, иногда одну из них (чаще всего Лат) называют его женой и матерью двух других богинь. Лат, а точнее, ал-Лат, — богиня неба и дождя, иногда — Солнца; чаще она выступала как богиня планеты Венера, отождествляясь с греческой Афродитой. Манат — богиня судьбы и возмездия, также богиня подземного царства и хранительница могильного покоя. Узза — тоже богиня планеты Венера. В Мекке в пантеоне племени курейшитов, из которого происходит Мохаммед, — верховная богиня.

был абсолютно уверен, что спасла его чистейшая, беспримесная, неодолимая воля к жизни. Первое, что она сделала, — отвергла его напыщенное "я", его мимикрию и голоса, и он подчинился ей, да-да, словно он был наблюдателем в собственном мозгу, в собственном теле, потому что она появилась где-то в самой серёдке, а потом захватила его всего, с неодолимой силой и нестерпимой лаской превращая кровь в железо, пока, в конце концов, не подчинила его полностью и не стала его ртом, его пальцами, чем хотела, а, уверившись в своей власти над ним, не пошла дальше и не схватила за яйца Джибриила Фаришту.

— Лети, — приказала она Джибриилу. — Пой.

Чамча держался за Джибриила, когда тот сначала потихоньку, а потом чаще и сильнее задвигал руками. Чем увереннее он махал ими, тем громче пел на непонятном языке и на неслыханную мелодию что-то в духе Рекхи-купчихи. В отличие от Чамчи, который старался всё объяснить по-научному, Джибриил верил в чудеса и не упускал случая заявить о небесном происхождении газели, к тому же, махать руками без песни было делом безнадёжным и разлетелись бы они на мелкие кусочки, упав на туго, как барабан, натянутую волну, а то пошли бы камнем прямо на дно. Вместо этого они начали плавное снижение. Чем радостнее Джибриил махал руками и пел, пел и махал руками, тем медленнее они спускались, пока наконец оба не коснулись волн Ла-Манша, словно две бумажки, унесённые лёгким бризом.

Они единственные спаслись, единственные из развалившегося "Бустана" остались в живых, и их, хоть и изрядно вымокших, всё же отыскали на берегу. Более разговорчивый из двоих, в кумачовой рубашке, клялся и божился, что они прошли по воде, аки по суху, и волны сами вынесли их тихонько на берег, зато другой, в мокром котелке, словно приросшем к его голове по чьему-то колдовству, отрицал это.

— Нам просто повезло, — повторял он. — Бывает же такое.

Но мне-то всё известно. Я всё видел. Правда, пока я молчу о своих вездесущности и всемогуществе, но, надеюсь, от меня не отнимется. Чамча пожелал, и Фаришта исполнил.

Кто сотворил чудо?

Чьей — дьявольской или ангельской — была песня Фаришты?

Кто я такой?

А если поставить вопрос иначе? Кому принадлежат лучшие песни?

Первыми словами, которые Джибриил Фаришта произнёс, очнувшись на заснеженном английском берегу с невидимой морской звездой возле уха, были:

— Вот мы и заново родились, Черпачок. Я и ты. С днём рождения, мистер, с днём рождения.

Саладин Чамча закашлялся и открыл глаза, а потом, словно в самом деле был новорожденным, залился горючими слезами.

- 2 -

Джибриил всегда любил поговорить о перерождении. Пятнадцать лет он яркой звездой блистал в индийском кинематографе до своей "удивительной" победы над собой, когда все поверили, что не видать ему новых контрактов. Наверное, этого многие хотели бы, только никто ничего не сказал, а он взял и вновь вознёсся на вершину, как говорится, схватил удачу за хвост, другие такого не осилили бы, чтобы потом навсегда уйти из своей прежней жизни, недели не прошло после его сорокового дня рождения, как он исчез, словно его не было, растворился — пуф! — *в воздухе.*

Первыми его отсутствие заметили четыре сотрудника студии, состоявшие при инвалидной коляске. Задолго до болезни он завёл обыкновение перемещаться с места на место на территории Д.У.Рамы при помощи быстрых и надёжных атлетов, потому что человек, делающий одновременно одиннадцать фильмов, должен беречь свои силы. Придерживаясь сложной системы проулков, кругов, остановок, которую Джибриил помнил ещё с детства, когда жил среди разносчиков обедов в Бомбее (о чём чуть позже), атлеты переносили его от роли к роли с такой же пунктуальностью и безошибочностью, с какой его отец разносил обеды. Отработав в одном месте, он прыгал в кресло и мгновенно оказывался в другом месте, чтобы облачиться, загримироваться и сказать текст.

— Карьера в Бомбейском звуковом кино, — говорил он своей преданной команде, — всё равно, что гонки в инвалидном кресле с одним-двумя падениями по дороге.

После болезни, Призрачного Вируса, Таинственного Недомогания, Помешательства, он вновь вернулся к работе, уменьшив нагрузку до семи картин одновременно... а потом исчез, был и нет его. Стоит пустое кресло в окружении умолкнувших съёмочных площадок, сразу выставивших напоказ свою бутафорскую мишуру. Атлеты, все вместе и по отдельности, извинились за пропавшую звезду, когда на них в ярости налетело начальство. Э, он, верно, заболел, ведь он славится своей точностью. Нет, нет, зачем ругаться, махараджа? Великим артистам надо время от времени давать себе волю. Они не смолчали и были уволе-

ны первыми из-за непонятного *фокуса* Фаришты, всех четверых одного за другим, экдумджалди, выкинули за ворота студии, и бесхозное кресло осталось пылиться под нарисованными на песчаном морском берегу пальмами.

Где же Джибриил? Продюсеры семи незаконченных картин, теряя много денег, запаниковали. Знаете, в Уиллингтонском гольф-клубе теперь только девять дыр, потому что из других девяти, как гигантские деревья, нет, скорее, как надгробия, отмечающие те места, в которых покоится истерзанный труп старого города, вылезли небоскрёбы, — вот там-то, именно там высокопоставленные директоры пропускали самые простые мячи. А теперь поглядите наверх, видите вырванные в отчаянии директорские волосы, повисающие на высоких окнах? Впрочем, горе продюсеров легко понять, потому что во время спада зрительского интереса, засилья мыльных опер и алчущих телеприключений домашних хозяек, было только одно имя, которое гарантировало стопроцентную прибыль от "Суперудара" или "Падения", а владелец этого имени взял и удрал...

По всему городу трещали телефоны, по улицам метались мотоциклисты и полицейские, ныряльщики и водолазы обшаривали дно в гавани, однако без успеха, и уже самые ловкие принялись сочинять эпитафии погасшей звезде. На одной из семи погасших площадок Рамы мисс Пимпл Биллимори, недавно появившаяся, начинённая перцем бомба — *не какая-нибудь фигли-мигли мамзелька, а потерявшая хозяина, готовая взорваться ракета*, — облачённая в одну только вуаль храмовой танцовщицы и поставленная под картонные спаривающиеся фигуры Чандельской эпохи, поняв, что её главной сцены не будет, что её мечта разбилась вдребезги, устроила злобное прощание с безразлично покуривавшими осветителями и шумовиками. В сочувственных "ах" Пимпл, ощерившись локтями, выдавила из себя:

— Господи, какая удача! Ведь сегодня должна быть любовная сцена, ти-ти-ти, и я вся холодела, как только вспоминала, что надо близко подойти к нашему губошлепу, от которого воняет, как из тараканьей щели. — Она переступила с ноги на ногу, звякнув браслетами на лодыжках. — Ему повезло, что кино не пахнет, а то бы от него все бежали, как от прокажённого.

Пимпл разразилась такими непристойностями, что курильщики наконец-то обратили на неё внимание, мысленно сравнивая её словарный запас со словарным запасом бесстыдной королевы разбойников Пхулан Деви, которая, не прилагая рук, одними только речами отводила ружейные стволы и останавливала журналистские карандаши.

Заплаканная Пимпл ушла под всеобщее осуждение, и от неё остался лишь лоскуток на полу монтажной. Фальшивые бриллианты выпали у неё из пупка, как в зеркале отражая хлынувшие слёзы... Что же до дурного запаха изо рта Фаришты, то она была не совсем не права, разве лишь немного переиграла. Его дыхание, эти охряные облака, всегда придавали ему — в сочетании с ярко выраженным томлением и чёрными, как вороново крыло, волосами — некую мрачность, несмотря на сверкание ангельского имени. После его исчезновения многие шутили, что его нетрудно отыскать, нужен лишь чувствительный нос... А ещё через неделю случилось нечто куда более трагическое, чем уход Пимпл Биллимори со студии, и напоённое ангельским ароматом имя впервые и всерьёз отдало дьявольской вонью. Можно сказать, что он шагнул с экрана в жизнь, не похожую на кино, где люди знают, что по чём.

Мы сотканы из воздуха. Мы вышли из снов и облаков, рождённые в полёте. Прощайте. Эту загадочную записку полицейские нашли в роскошной квартире Джибриила Фаришты на последнем этаже самого высокого дома, построенного на самом высоком месте в городе. Апартаменты с двойной перспективой (с одной стороны — на вечернее ожерелье Марин-драйв, с другой — на прибежище порока и на море) несколько затянули журналистскую какофонию. ФАРИШТА НЫРЯЕТ ПОД ЗЕМЛЮ, мрачно изрекла "Блиц", а в "Дейли" изощрялся Бизиби: ДЖИБРИИЛ УЛЕТАЕТ ИЗ КУРЯТНИКА. Газеты обошло множество фотографий легендарной квартиры, на которую французские дизайнеры с рекомендациями от Реза Пахлеви в награду за "Персеполис" истратили миллион долларов, чтобы придать ей вид бедуинского шатра. С его исчезновением была разрушена ещё одна иллюзия. ДЖИБРИИЛ РАЗБИВАЕТ ЛАГЕРЬ, кричали заголовки. Но где? Внизу? Наверху? Никто не знал. В этом центре воплей и шепотков даже человек с острым слухом был бы не в силах ничего расслышать. Единственная из всех миссис Рекха-купчиха, прочитывая все газеты, прослушивая все радиосообщения, не пропуская ни одной телепрограммы с новостями, уловила смысл записки Фаришты, разобравшись в его послании, поняла то, что ускользнуло от других, и, взяв с собой двух дочерей и одного сына, отправилась на крышу небоскрёба "Эверест Вилас".

Она была соседкой Фаришты, точнее, жила прямо под ним. Она была его подругой, и больше мне сказать нечего. Естественно, скандальные и злобные газетёнки заполнили свои страницы всякими слухами и домыслами, однако это не значит, что я тоже должен опускаться до их уровня. Зачем мне порочить её репутацию?

Кто она такая? Богачка, конечно, но ведь и "Эверест Вилас" — не многоэтажка в Курле, правильно? Замужем, о да, сэр, тринадцать

лет. Муж у неё занят шарико-подшипниковым бизнесом. Независима. В Колабе её выставочные залы с коврами и другими ценностями процветали. Свои ковры она называла *платками* и *платочками*, а старинные подделки — *антиками*. Вы правы, она была красива. Красива неотразимой ослепительной красотой утончённых обитателей городского поднебесья, чьи кости, кожа, осанка несут на себе печать давней разлуки с обедневшей, засеянной, застроенной и расплодившейся землёй. Никто ни разу не усомнился в том, что она сильная личность. Пила она как рыба из лаликового хрусталя, бесстыдно вешала шляпу на Натараджа[7] и отлично знала не только, чего хочет, но и как это заполучить, причём немедленно. У мужа были деньги и кулаки с тыкву. Итак, Рекха-купчиха прочитала прощальную записку, тоже сочинила письмо, собрала детей, вошла в лифт и поднялась ближе к небу (на один этаж) навстречу своей судьбе.

"Много лет назад, — написала она, — я вышла замуж из трусости. Теперь, наконец, я буду храброй".

Она оставила на кровати газету с посланием Джибриила, обведённым красными чернилами, причём трижды и с такой силой, что даже порвала бумагу. Естественно, журналисты, сукины дети, не заставили себя ждать, и газеты запестрели заголовками: "ПАДЕНИЕ ПОКИНУТОЙ ПРЕЛЕСТНИЦЫ. ПОСЛЕДНИЙ ПРЫЖОК КРАСАВИЦЫ С РАЗБИТЫМ СЕРДЦЕМ". Но:

Наверное, она тоже была помешана на перерождении, а Джибриил, не осознав страшную силу метафоры, посоветовал лететь. *Чтобы родиться вновь, сначала ты...* Она же была небесным существом, пила лучшее шампанское, жила на "Эвересте", и когда один из подобных ей олимпийцев полетел, то почему бы ей не суметь, обрести крылья, если он сумел, ведь и она вышла из снов.

Но она не сумела. Лала, состоявший привратником в "Эверест Вилас", так рассказал о случившемся.

— Хожу я туда-сюда, ну, где положено, вдруг слышу грохот. *Там-тара-рам.* Я повернулся. А это старшая дочка. Голова у неё вдребезги. Я поглядел наверх. Там мальчишка. А за ним другая дочка. Совсем рядом со мной упали. Я рот зажал и к ним. Малышка ещё стонала. Голову-то я опять поднял. А тут бегума падает сверху. Сари у неё задралось, да и волосы растрепались. Ну, я отвернулся. Она же падала, и не пристало мне заглядывать под сари.

Рекха и её дети, прыгнув с "Эвереста", не спаслись, и длинные языки во всём обвинили Джибриила.

---

[7] Шива-Натараджа — Шива пляшущий, владыка танца.

Оставим их ненадолго.

Вы не забыли? Он встретил её после смерти, он встречал её несколько раз. И это было задолго до того, как люди поняли, что со здоровьем у великого человека дела обстояли не лучшим образом. Джибриил — звезда. Джибриил, победивший Безымянную Болезнь. Джибриил, боявшийся заснуть.

После исчезновения Джибриила Фаришты его бесчисленные изображения постепенно стали тускнеть и гнить. На гигантских яркораскрашенных щитах, с которых он глядел на народ, поначалу дали себя знать ленивые веки, опускавшиеся всё ниже и ниже и закрывшие , наконец, глаза, ставшие похожими на две луны, обрезанные облаками или хрупкими клинками его ресниц. Потом веки отвалились, придав нарисованным глазам дикое выражение. Разлучённые с киношными дворцами Бомбея, огромные изображения Джибриила теряли свою целостность и кренились к земле. Без присмотра они лишались рук, им перерезали шеи и выкалывали зрачки. С обложек журналов он смотрел на читателей со смертельной мукой в глазах, в которых мало-помалу застыла пустота. Постепенно фотографии выцветали, и, в конце концов, блестящие обложки "Селебрити", "Сосайети", "Илластрейтид Уикли" стали зиять нетронутой чистотой, а издатели проклинать типографии за качество печати. Даже высоко над головами поклонников на серебряном экране, окружённом кромешной тьмой, бессмертное изображение вдруг побледнело и полиняло. Каждый раз, когда крутилась плёнка, проекторы заедало, фильмы перестали показывать и безжалостный свет сжёг целлулоидные черты: звезда исчезла, отдав свой огонь, как положено, через рот.

Это была смерть Бога. По крайней мере, очень близко к этому. Разве не глазели фанатики на его увеличенное лицо в искусственной киношной ночи, разве не сияло оно, подобно неземному лику, по крайней мере, полубогу? Даже больше, чем полубога, скажут люди, потому что Джибриил только и делал всю жизнь, что перевоплощался, и весьма убедительно, в бесчисленных богов из популярных фильмов так называемого "теологического" жанра. В том-то состояла магия его личности, что он умудрился выходить за границы религии, не обижая чувств верующих. С синей, как у Кришны, кожей он плясал, не выпуская из рук флейту, среди прекрасных гопи[8] и их коров с тяжёлым выменем. Вместе с перевёрнутыми пальмами и ясным небом он размышлял (как Гаутама) о несчастном человечестве, сидя под рахитичным деревом бодхи. В те редкие моменты, когда он снисходил с небес, он не особенно удалялся

[8] Гопи — пастушки, возлюбленные бога Кришны.

от них, играя, например, одновременно Великого Могола и его знаменитого своей хитростью министра в классической ленте "Акбар и Бирбал". Более пятнадцати лет для сотен миллионов верующих в стране, где до сегодняшнего дня смертное население соотносится с божественным примерно как три к одному, он являл мгновенно узнаваемый и наиболее приемлемый лик Всевышнего. Для многочисленных фанатов уже давно исчезла граница между исполнителем и ролями.

Для фанатов — да, но?.. Как насчёт самого Джибриила?

Лицо. В реальной жизни среди обыкновенных смертных его лицо теряло свой звёздный блеск. Опущенные веки придавали ему пресыщенный вид. Нос тоже подкачал, да и губы были слишком мясистыми, чтобы выражать внутреннюю силу, не говоря уж о длинных ушных мочках, напоминавших молоденькие шишки. Лицо, каких много, разве лишь чувственнее других. К тому же, в последнее время на нём появились морщины, проложенные вскоре давшей себя знать и почти неизлечимой болезнью. Тем не менее, несмотря на обыкновенную человеческую слабость, были в этом лице божественность, совершенство, красота, то есть то, что должен иметь Бог, если не принимать во внимание разницу во вкусах людей. В любом случае, согласитесь, что для такого актёра (наверное, для любого актёра, даже для Чамчи, для него-то особенно), в общем, неудивительно помешаться на *перевоплощении*, подобно многоликому Вишну. Перевоплощение — тоже привилегия Бога.

* * *

Или, но, тогда... не всегда. Единичные перевоплощения тоже случаются. Джибриил Фаришта родился Исмаилом Наджимуддином в Пуне, а Британской Пуне на самых задворках империи, задолго до того, как появилась Пуна Раджниша и так далее. (Пуна, Валедара, Мамбаи... Города тоже теперь носят сценичные имена). Исмаилом его назвали после того, как он принёс священную жертву Ибрагиму, а Наджимуддин означает *звезда веры* — вот такое имя он отринул, чтобы принять имя ангела.

Впоследствии, когда самолёт "Бустан" развалился на куски и пассажиры, страшась будущего, стали вспоминать прошлое, Джибриил признался Саладину Чамче, что выбрал свой псевдоним, желая почтить память матери, "моей мамочки", моей любимой единственной мамочки, она была в начале моей ангельской карьеры, я был её собственным ангелом, так она говорила, *Фаришта*, мой *ангел*, ведь, правда, я был дья-

вольски красив, хочешь — верь, хочешь — не верь, но я был золотым мальчиком .

Пуна не смогла удержать его. Ещё в детстве его увезли в проклятый город, и это было его первым переселением. Отец нашёл тогда работу разносчика обедов в Бомбее, вдохновившую потом сына на носильщиков кресла, и Исмаилу Фариште пришлось в тринадцать лет пойти по его стопам.

Джибриил, пленник АИ-420, не отрывая от Чамчи горящих глаз, пустился в простительные воспоминания о тайных шифрах разносчиков, о чёрных свастиках, красных кругах и жёлтых пунктирах, мелькавших перед ним, пока он бежал от дома к дому, обо всей той неправдоподобной системе, благодаря которой две тысячи городских разносчиков доставляли каждый день не меньше сотни тысяч обедов, и только в плохой день, мой милый, могли перепутать с полтора десятка адресов, а ведь почти все из нас были неграмотными и эти знаки составляли наш тайный алфавит.

"Бустан" кружил над Лондоном, а солдаты выслеживали нарушителей границ, поэтому Джибриил своей энергией осветил самолёт, который шёл без опознавательных знаков и с тёмными пассажирскими отсеками. На грязном экране, на котором в начале полёта Уолтер Мэтью из-за необходимости дозаправки с грустью уступил место вездесущей Голди Хоун, теперь двигались тени, проецируемые затосковавшими по прошлому заложниками, и самой яркой была тень быстроногого подростка Исмаила Наджимуддина, мамочкиного ангела в шапочке-гандийке, бегущего по городу с обедами. Юный разносчик-дабба ловко скользил в толпе теней. Ты только представь, Черпачок, тридцать-сорок обедов на длинном деревянном подносе на голове, и когда поезд останавливается, надо за минуту проскочить мимо, а потом бежать дальше по улицам, а там автобусы, мопеды, мотоциклы, велосипеды и чего только нет, раз - два, раз - два, обед, обед, пропустите дабба. Бывало, что и по путям бегать приходилось, когда поезд застревал, и по пояс в воде, если заливало улицу, а ещё банды!, Салад-баба, правда-правда, тогда целые банды грабили дабба, что и говорить, детка, голодный был город, но мы с ним умели справляться. Мы были везде и всё знали. Ни один воришка не ускользал от нас, и мы никогда не звали полицейских, сами старались за себя постоять.

По вечерам отец и сын возвращались домой поездом от аэропорта, и когда мать Исмаила видела его на фоне зелёных, красных, жёлтых огней поднимавшихся по воздуху самолётов, она обыкновенно говорила, что стоит ему появиться, как все её мечты становятся явью. Она первая заметила способность Джибриила исполнять тайные жела-

ния людей, когда он сам ещё об этом и не подозревал. Его отец, Наджимуддин Старший, ни разу не рассердился из-за того, что его жена высматривает только сына и ухаживает по вечерам за его натруженными ногами, не замечая ног мужа. Сын — это благословение, а за благословение надо быть благодарным.

Потом Найма Наджимуддин умерла. Её сбил автобус, и рядом не оказалось Джибриила, чтобы исполнить её мольбу о жизни. Отец и сын ни словом не обмолвились о своём горе. Молча, словно так было принято и ничего другого быть не могло, они похоронили свою тоску в сверхурочной работе, без слов договариваясь, кто возьмёт больше обедов на голову, кто запишет на себя дополнительные контракты, кто побежит быстрее, словно своим трудом они старались доказать свою любовь. Когда Исмаил Наджимуддин видел вечером отца, его вздувшиеся на шее и на висках вены, он понимал, как старик обижен на него и как ему важно победить его и отвоевать обратно любовь жены, и мальчик отступился, однако рвение отца оставалось прежним, и вскоре он выдвинулся из простых разносчиков в *мукваддамы*. Когда Джибриилу исполнилось девятнадцать, Наджимуддин Старший стал членом Гильдии разносчиков и Ассоциации бомбейских разносчиков обедов, а ещё через год его отец упал на бегу и умер. "Он бегом убежал под землю", — сказал генеральный секретарь гильдии, сам Бабасахиб Мхатре. Но сирота-то знал. Он знал, что его отец в последнее время бежал далеко и быстро, желая пересечь границу между мирами, и он выскочил из кожи прямо в руки своей жены, которой раз и навсегда доказал превосходство своей любви. Переселенцы, бывает, рады убежать подальше.

Огромный, толстый, как Будда, Бабасахиб Мхатре, великая движущая сила метрополии, сидел над лабиринтом рынка в офисе с синими стенами и зелёной дверью. Он владел непостижимым даром при любых обстоятельствах сохранять абсолютное спокойствие и никогда не покидать своего кабинета, но тем не менее быть в курсе всех дел и иметь личные встречи со всеми, кто что-либо значил в Бомбее. На другой день после того, как отец юного Исмаила перебежал черту ради свидания со своей Наймой, Бабасахиб призвал юношу пред свои очи.

— Ну? Горюешь или как?

Исмаил, не поднимая глаз, пролепетал что-то, вроде: "Да спасибо, Бабаджи, я в порядке."

— Молчи и слушай, — сказал Бабасахиб Мхатре. — С сегодняшнего дня ты будешь жить со мной.

— Нет-нет, Бабаджи...

— Никаких нет. Я уже поставил в известность мою добрую супругу. Короче, я сказал.

— Пожалуйста, простите, Бабаджи, но как, что, почему?

— Я сказал.

Джибриил Фаришта не знал, почему Бабасахиб решил позаботиться о нём и забрать его с улицы, не сулившей никаких перспектив на будущее, однако со временем он догадался. Миссис Мхатре была очень худа и похожа на карандаш, когда стояла рядом со своим мужем, но она хранила в себе столько не излитой материнской любви, что должна была бы раздуться, как картошка. Когда Баба приходил домой, она собственноручно клала ему в рот сладости, а по вечерам можно было слышать, как генеральный секретарь Бомбейской ассоциации разносчиков обедов кричит, отстань от меня, гиена, я сам разденусь. По утрам она кормила его с ложки солодом, а перед его уходом на работу расчёсывала ему волосы. Детей у неё не было, и юный Наджимуддин догадался, что Бабасахиб хочет разделить с ним ношу. Однако бегума не пожелала отнестись к юноше, как к малому дитяти.

— Ты что, не понимаешь? Он же совсем взрослый, — говорила она мужу, когда он молил её отдать проклятую ложку с солодом Исмаилу. — Да-да, он взрослый, и мы должны сделать из него мужчину, а не нянькаться с ним, словно он ребёнок.

— К чертям! — взрывался Бабасахиб. — Тогда почему ты кормишь меня?

Миссис Мхатре разражалась слезами.

— Ты для меня всё, — рыдала она. — И отец, и возлюбленный, и ребёнок тоже. Ты мой властелин и моё дитя. Если я тебе надоела, то мне не хочется жить.

Бабасахиб Мхатре смирялся и открывал рот.

Он был добрым человеком и больше всего на свете не любил, когда кто-то шумит или кого-то обижают. Чтобы утешить осиротевшего юношу, он говорил с ним в своём синем кабинете о философии перерождения и убеждал его в том, что его родители уже наверняка где-нибудь на земле, если только за свою святость не заслужили высшей милости. Кстати, Мхатре первым упомянул при Фаришге о перерождении, да и не только об этом. Бабасахиб был психиатром-любителем из тех, что стучат по ножкам стола и вызывают духов.

— С этим я покончил,— заявил он своему протеже со множеством мелодраматических ужимок и гримас, — после того как испугался за свою жизнь.

Однажды (вспоминал Мхатре) в стакане оказался очень коммуникабельный дух и очень дружелюбный, понимаешь, тип, поэтому я решил задать ему настоящие вопросы. *Бог есть?* И вдруг стакан, который, словно мышка, бегал по кругу, остановился как вкопанный посреди сто-

ла, не шевелился, не дёргался, капут, одним словом. Ладно, о'кей, сказал я. не хочешь отвечать на этот вопрос, ответь на другой. *Дьявол есть?* Тут стакан как закрутится — слушай-слушай! — сначала не очень быстро, а потом быстрее и быстрее, пока не стал как желе, подпрыгнул — ого-го! — на столе, упал на бок и разлетелся на тысячу и один кусочек. Всё. Верь — не верь, сказал Бабасахиб своему подопечному, но это был мне урок. Не суйся, Мхатре, если не понимаешь.

Рассказ этот оказал большое влияние на юного слушателя, потому что он ещё при жизни своей матери верил в существование сверхъестественного. Иногда, стоило ему оглядеться кругом, особенно в полдневный зной с его клейким воздухом, когда весь видимый мир со всеми его обитателями и вещами как бы тянулся вверх в атмосферу наподобие горячих айсбергов, и у него появлялось ощущение, будто всё, что существовало в сгустившемся воздухе — люди, машины, собаки, рекламные щиты, деревья, то есть девять десятых реального мира, — исчезало с глаз. Правда, если он моргал, то иллюзии как не бывало, но избавиться полностью от владевшего им ощущения он не мог. Он вырос с верой в Бога, ангелов, демонов, ифритов, джинов, которые были для него такими же привычными, как телеги и фонарные столбы, и его неспособность увидеть призрака удручала его, словно он удостоверивался в каком-то своём физическом изъяне. Он мечтал о встрече с колдуном-оптометристом, который дал бы ему зелёные очки и вылечил его мучительную миопию, после чего он смог бы увидеть сквозь непроницаемую толщу воздуха другой загадочный мир.

От совей матери Наймы Наджимуддин он много слышал о Пророке, и если она не всегда было точна в подробностях, его это не смущало.

"Вот человек! — думал он. — Какому бы ангелу пришло в голову отказаться от беседы с ним?"

Иногда он, правда, ловил себя на том, что его мысли обретают богохульный оборот, особенно, когда, просыпаясь по утрам в доме Мхатре, он принимался спросонья сравнивать своё сиротское положение с положением Пророка, тоже оставшегося сиротой без гроша в кармане и преуспевшего в управлении делами богатой вдовы Хадиджи, на которой он в конце концов женился. Как-то, засыпая, он увидел, будто сидит на усыпанном розами помосте и застенчиво улыбается, прикрываясь сари, а его муж Бабасахиб Мхатре ласково протягивает к нему руку, чтобы отвести от его лица преграду и полюбоваться отражением в зеркале у него на коленях. Весь в поту от стыда, он проснулся и был очень огорчён собственным несовершенством, сотворившим ужасное видение о браке с Бабасахибом Мхатре.

В основном, однако, его вера не мешала ему и не требовала никаких усилий. Когда Бабасахиб Мхатре взял его к себе домой, юноша обрадовался, что он не один на этой земле и есть, кому о нём позаботиться, поэтому он совсем не удивился, когда Бабасахиб в день его двадцатилетия позвал его в свой кабинет и уволил без лишних слов.

— Ты уволен! — сияя, воскликнул Мхатре. — Выгнан, рассчитан. *У-хо-ди.*

— Но, дядя...

— Молчи.

И Бабасахиб сделал ему лучший в его жизни подарок, сообщив, что организовал для него встречу в студии легендарного киномагната мистера Д.У.Рамы. Просмотр.

— Это даже не эпизод, — продолжал Бабасахиб. — Рама — мой хороший друг, и мы с ним договорились. Лиха беда — начало. А теперь проваливай и не ходи с постной физиономией. Тебе не идёт.

— Но, дядя...

— Ты — красивый мальчик и не должен вечно таскать на голове подносы. Иди. Не мешкай. Будь актёром в гомосексуальных фильмах.

— Но, дядя...

— Я сказал. Благодари свою счастливую звезду.

Он стал Джибриилом Фариштой, но ещё четыре года прежде, чем стать звездой, он проходил ученический курс в маленьких ролях, не изменяя своей неторопливости, словно мог провидеть будущее, и из-за своего внешнего безразличия к карьере оставаясь как бы аутсайдером в самой своекорыстной из всех сфер человеческой деятельности. Кто-то считал его глупым, кто-то — невежественным, кто-то — и тем и другим вместе. И за все четыре года он ни разу не поцеловал в губы ни одну женщину.

На экране он обыкновенно изображал козла отпущения, дурака, влюблённого в красавицу, не понимающего, что она ни за что в жизни ни снизойдёт до смешного дядюшки, бедного родственника, деревенского простофили, слуги, неумехи, из которых ни один не удостаивался любовной сцены. Женщины били его, давали ему пощёчины, издевались над ним, смеялись и ни разу не взглянули на него на целлулоидной плёнке, не спели ему, не станцевали вокруг него с кинолюбовью в глазах. Жил он в двух комнатах недалеко от студии, где много размышлял о том, как они выглядят без одежды. Чтобы отвлечься, он учился, истязал себя неутомимым чтением, открывая для себя мифы Греции и Рима, аватары Юпитера, мальчика, ставшего цветком, женщину-паучиху, Цирцею и так далее, теософию Анны Безант, теорию поля, эпизод с сата-

нинскими стихами в юные годы Пророка, интриги в гареме Мухаммада после его счастливого возвращения из Мекки, сюрреалистические газетные новости, в которых бабочки влетали в рот к девушкам, прося съесть их, дети рождались без лиц, юноши мечтали о невероятных перевоплощениях, например, в золотую крепость, заполненную драгоценными камнями. Бог знает, чем он забивал себе голову, но всё равно в предрассветные часы не мог не думать о том, что есть нечто, увы, невостребованное, и это — любовь. В снах его мучили женщины неземной красоты, поэтому он предпочитал бодрствовать и заставлял себя бесконечно перечитывать уже известные книги, чтобы не давать воли трагическому противоречию, изводившему его, ибо он знал, что способен на великую любовь, которую ему было некому предложить.

Настоящий успех пришёл к нему с теологическими фильмами. Как только отошли в прошлое фильмы о пуранах с небольшим добавлением музыки, пения, танцев и смешных дядюшек, все боги, какие только есть, получили шанс стать звёздами. Д.У.Рама решил запустить ленту о Ганеше, но ни один из ведущих актёров не пожелал весь фильм просидеть в маске слона, и Джибриил вовремя оказался под рукой. Это был его первый успех, в "Ганпати-баба", и он сразу стал суперзвездой, только с хоботом и большими ушами. Шесть раз он играл бога-слона, прежде чем ему разрешили снять с себя неудобную серую маску и вместо неё прицепить длинный лохматый хвост, потому что ему предстояло изобразить Ханумана-обезьяну в серии приключенческих фильмов, которые имели гораздо больше общего с дешёвыми телевизионным сериалом о Кин-Конге, чем с "Рамаяной". Как ни странно, популярность Ханумана превзошла все ожидания, и городские юноши прицепляли себе хвосты, когда шли на вечеринки с девушками-"шутихами", всегда готовыми принять любое приглашение.

После Ханумана ничто не могло помешать карьере Джибриила и он всей душой поверил в своего ангела-хранителя. Но, увы, успех имел и печальные последствия.

(Я понимаю, что должен, наконец, выдать тайну бедняги Рекхи).

Ещё до того, как Джибриил сменил фальшивый хобот на не менее фальшивый хвост, им заинтересовались женщины. Его слава стала такой притягательной, что некоторые из юных особ просили его надеть в постели маску Ганеши, однако Джибриил не шёл на это из уважения к богу. Из-за пробелов в воспитании он поначалу не понимал разницу между количеством и качеством в любви и изо всех сил старался наверстать упущенное, отчего нередко забывал имена своих партнёрш прежде, чем они закрывали за собой дверь. Он не только превратился в худшего из волокит, но также обучился искусству лицемерия, ведь мужчина,

изображающий богов, недоступен для упрёков. Он так ловко скрывал скандальную сторону свой жизни, что его прежний хозяин Бабасахиб Мхатре, лёжа на смертном одре через десять лет после того, как послал Джибриила в мир обмана, чёрных денег и греха, попросил его жениться, чтобы доказать свою мужественность.

— Ради Бога, мистер, — умолял его Бабасахиб, — когда я послал тебя играть гомиков, я ни о чём таком не думал. Нельзя же слепо почитать волю старших.

Джибриил поднял руки и поклялся, что ничего подобного с ним не случилось и как только он найдёт достойную девицу, непременно исполнит его волю.

— А чего ждать? Думаешь найти богиню? Грету Гарбо? Благодатную Кали? — вскричал старик, кашляя кровью, и Джибриил загадочно улыбнулся, не позволив ему почить с миром.

Сексуальная лавина, накрывшая Джибриила Фариишту, наверняка, могла навсегда и безвозвратно похоронить его способность к искренней любви, редкий и хрупкий дар, который оставался невостребованным. Перед своей болезнью он совсем позабыл о злости, которая прежде охватывала его из-за стремления к любви и причиняла ему боль не меньшую, чем если бы колдун всаживал в него нож, да ещё поворачивал его. После своих акробатических упражнений он легко засыпал, словно это не ему досаждали во сне женщины и не он мечтал подарить кому-нибудь своё сердце.

— Твоя беда, — сказала ему Рекха-купчиха, материализовавшись из облака, — в том, что тебя всегда прощали, Бог знает, почему, и ты всегда ускользал, даже если совершал убийство. Никогда никто не призвал тебя к ответу за содеянное. — Он не спорил. — Божий дар, — верещала она, — Бог знает, что ты о себе думаешь, выскочка и паскудник.

А он думал, что женщины — это сосуды, в которые он изливает себя, поэтому они и должны принимать его таким, каков он есть, и всё ему прощать. Правда, его никто не укорял за измены, за тысячу и одну небрежность, за многочисленные аборты и, как вопил Рекха из облачной дыры, за разбитые сердца. Долгие годы он наслаждался женской добротой, одновременно будучи её жертвой, потому что всепрощение стало причиной глубочайшей и сладостнейшей порчи, ведь он не думал, что совершает зло.

Рекха: она вошла в его жизнь, когда он купил апартаменты в "Эверест Вилас" и она предложила ему, в качестве соседки и деловой женщины, посмотреть её ковры и всякие редкости. Муж в это время был на очередном всемирном конгрессе предпринимателей в Гётеборге, в

Швеции, так что она одна водила Джибриила по апартаментам с каменными решётками из Джайсалмера, деревянными резными перилами из дворцов Кералы, каменными чхатри моголов и куполом, превращённым в ванну с гидромассажем. Подливая ему французское шампанское, она полулежала, прислонившись к мраморной стене и спиной ощущая её прохладу. Он потягивал шампанское, а она поддразнивала его, напоминая, что боги не пьют шампанское. Он отвечал ей в том же тоне, благо читал интервью с Ага-Ханом[9], о, знаете, шампанское — всего лишь видимость, и едва оно касается моих губ, как превращается в воду. Почти сразу же она тоже коснулась его губ и оказалась в его объятиях. К тому времени, как дети вернулись из школы, она, уже одетая и причёсанная, чинно сидела в гостиной, посвящая гостя в тайны коврового бизнеса, объясняя, что́ подделка, а что́ настоящее искусство, умоляя его не доверять её писаниям, будто ковры ткут из шерсти, взятой с шеи крошечных ягнят, ибо, на самом деле это шерсть низкого качества, а реклама — она и есть реклама.

Он не любил её, не был её верен, забывал о её дне рождения, не звонил ей, заставлял подниматься к нему, когда она устраивала деловые обеды, но и она, как все остальные, прощала его, правда, не могла смиренно промолчать, отпуская его от себя. Рекха вопила, как сумасшедшая, ругала его на чём свет стоит, визжала и проклинала за лафанга и харамзада, и салах, и даже за совершенно невозможный грех — совращение несуществующей сестры. Она ничего ему не спускала, орала, что он не человек, а тень, бегающая по экрану, а потом всё ему прощала и позволяла задрать юбку. Перед такой действенной снисходительностью Джибриил устоять не мог, тем более если учесть её замужество и её собственную неверность по отношению к шарикоподшипниковому королю, о котором Джибриил воздерживался упоминать, по-мужски стойко снося женские попрёки. Впрочем, попрёки других женщин не задевали его сердце, и едва они были произнесены, как он уходил навсегда, а к Рекхе он каждый раз возвращался, чтобы она отругала его, а потом утешила, как только она одна умела это делать.

А потом он чуть не умер.

Он снимался в Канья-Кумари, на самом кончике Азии, в сцене сражения на мысе Коморин, где сходятся вместе три океана. С запада, востока и юга накатили три волны и с грохотом протянули могучие руки к Джибриилу, только что получившему точно рассчитанный удар в зубы, от которого он не устоял на ногах. И больше не поднялся...

---

[9] А г а - Х а н — титул главы мусульманской секты исмаилитов.

Все сразу бросились на англичанина-гиганта Юстаса Брауна. Он бурно возражал. Разве не он играл всегда противника главного министра Н.Т.Рамы Рао? Разве не он довёл до совершенства искусство представлять старика героем, не нанося ему даже заметных ушибов? И разве не он постоянно сокрушался, что Н.Т.Р. не сдерживает себя, отчего бедняга Юстас вечно ходил с синяками, полученными от плюгавого старикашки, которого он мог бы, будь на то его воля, проглотить с потрохами, намазать на бутерброд, если бы хоть раз, один-единственный раз он потерял над собой контроль? И что же? Как только люди могли подумать, что он способен причинить боль бессмертному Джибриилу?.. Всё равно его выгнали с работы, а полицейские сунули в кутузку.

Однако дело было вовсе не в ударе. После того, как звезду доставили в Бомбейскую больницу на специально зафрахтованном реактивном самолёте, после того, как были проделаны все анализы, которые почти ничего не дали, а он продолжал лежать без сознания, умирая, с пульсом четыре и две десятых вместо обычных пятнадцати, больничный врач встретился с корреспондентами столичных газет на широкой белой лестнице больницы "Брич-Кенди".

— Непостижимо, — сказал он. — Называйте это, если угодно, промыслом Божьим.

Без всякой видимой причины внутренние органы Джибриила Фаришты, попросту говоря, истекали кровью. Изредка кровь появлялась в заднем проходе и на пенисе, но все боялись, что в любое мгновение она может хлынуть из носа, ушей и даже из глаз. Семь дней он исходил кровью и семь дней ему вливали кровь и все мыслимые лекарства, включая концентрированный крысиный яд, но это ни к чему не приводило и врачи махнули на него рукой.

Вся Индия пришла тогда к постели больного Джибриила. О состоянии его здоровья сообщали в "Новостях" по радио и каждый час по национальному телевидению. На Уорден-роуд собралась такая толпа, что полиция была вынуждена применить слезоточивый газ, хотя и без того полмиллиона плакальщиков уже вовсю стенали и рыдали. Премьер-министр отложила все дела, чтобы навестить его. Её сын, пилот самолёта, сидел в спальне Фаришты и держал его за руку. Нацию охватило мрачное предчувствие. Если Всевышний не предотвратил кару в отношении самого знаменитого своего воплощения, то что он уготовил для остальных? Если Джибриил умрёт, то не умрёт ли следом за ним вся Индия? В мечетях и храмах люди молились не только за жизнь умирающего актёра, но и за своё будущее, за самих себя.

Кто же не посетил Джибриила в больнице? Кто не написал ему и не позвонил, не принёс цветов и вкусной домашней еды? В то время,

как многочисленные любовницы беззастенчиво засыпали его посланиями и приношениями, одна она, беззаветно его любившая, хранила молчание, чтобы не вызвать подозрение мужа. Рекха-купчиха одела своё сердце в броню и стойко выполняла свои обязанности, играла с детьми, болтала с мужем, принимала его гостей и ни разу ничем не выдала себя.

А он выздоровел.

Причём выздоровление было не менее загадочным, чем болезнь, и таким же скорым. Его тоже сочли (врачи, журналисты, друзья), промыслом Божьим. Был объявлен национальный праздник. Повсюду устраивали фейерверки. Однако, едва Джибриил поднабрался сил, стало ясно, что он изменился. И очень изменился. Он потерял веру.

В тот день, когда он вышел из больницы, его сопровождал полицейский эскорт, потому что на улице стояла толпа, желавшая отпраздновать и его и свою радость. Он сел в "мерседес" и приказал шофёру оторваться от преследователей, что заняло семь часов и пятьдесят одну минуту, в течение которых он решал, что делать дальше. Остановившись возле отела "Тадж", он, не глядя по сторонам, проследовал прямо в огромный ресторанный зал, где столы скрипели под тяжестью запрещённых блюд, и наложил себе в тарелку свиной колбасы из Уилтшира, йоркской ветчины и бекона богзнаетоткуда, потом ещё копчёного мяса своего безверия и свиных ножек секуляризма, после чего встал посреди зала в окружении невесть откуда взявшихся фотографов и принялся быстро-быстро запихивать в себя дохлую свинину, так что даже не успевал ни разжевать её, ни проглотить и она лезла у него изо рта обратно.

Пока он болел, каждую светлую минуту, нет, секунду он призывал Бога. О Аллах, твой слуга истекает кровью, молю, не оставь меня, ведь Ты всегда благоволил ко мне. О Аллах, подай мне какой-нибудь знак Твоей милости, и я найду в себе силы одолеть болезнь. О Всемогущий и Всемилостивейший, снизойди ко мне в моей нужде и печали. Потом он решил, что Бог наказывает его, и он смиренно терпел боль, пока вдруг не разозлился. Хватит, Всевышний, молча возопил он, почему я должен умирать, когда я никого не убил. Возмездие Ты или любовь? На своей злости он протянул ещё день, а когда она его покинула, то на её место пришла ужасная пустота. Он ощутил неодолимое одиночество, осознав, что зря сотрясает *воздух*, где никого и ничего нет. Никогда он ещё не чувствовал себя таким дураком и взмолился. О Аллах, ничего мне не надо, будь ты проклят, только сам-то будь, прошу тебя. Ничего не изменилось, совсем-совсем ничего, и тогда он понял, что никто ему не нужен! В тот же день случилось чудо. Болезнь отступила. Так что теперь, желая доказать себе свою правоту и небытие Бога, он стоял

посреди самого знаменитого ресторана в городе и свиньи лезли у него изо рта во все стороны.

Подняв глаза от тарелки, он заметил наблюдавшую за ним женщину. У неё были совсем светлые, почти белые, волосы и кожа цвета снега в горах. Женщина рассмеялась и отвернулась.

— Видишь! — крикнул он ей, выплёвывая кусок колбасы. — Ничего нет. Это главное.

Женщина подошла совсем близко.

— Ты жив, — сказала она. — Ты получил обратно свою жизнь. *Это* главное.

Он сказал Рекхе: когда она повернулась и пошла прочь, я понял, что влюбился в неё. Аллилуйя Коэн, альпинистка и покорительница Эвереста, светловолосая иудейка и снежная королева. Я не мог не подчиниться её требованию: *измени свою жизнь и не трать её зря.*

— Ты всё такой же и опять со своим дурацким перевоплощением, — польстила ему Рекха. — Глупая твоя голова. Только из больницы, чуть не отправился на тот свет, а туда же, сумасшедший, опять задумал побег, и она тут как тут, твоя блондинка. Думаешь, Джибба, я тебя не знаю? Ну как, хочешь, чтобы я тебя простила, или нет?

— Не стоит, — ответил он. Он ушёл из апартаментов Рекхи (его любовница плакала, упав ничком на пол) и больше не вернулся.

Через три дня после того, как, набив рот нечистым мясом, он увидел её, Алли села в самолёт и улетела. Но на три дня они выпали из времени, повесив на дверь табличку с просьбой их не беспокоить, правда, в конце концов обоим пришлось признать, что жизнь есть жизнь, поэтому что возможно, то возможно, а что невозможно, то не... Случайные встречи, уходящие пароходы, любовь на каникулах... Сначала Джибриил отдыхал, стараясь забыть её слова и вернуться к своим прежним радостям и заботам. Пусть он потерял веру, но это вовсе не значит, что он не может делать своё дело, несмотря даже на скандал с фотографами, ведь это был первый скандал, запятнавший его имя, и он не помешал ему подписать контракты, а там приняться за работу.

И, вот, его кресло с утра не занято. Актёр исчез, и разве что бородатый пассажир Исмаил Наджимуддин занял место в самолёте, получившем своё имя от одного из райских садов, но не Гулистана, а Бустана, и взявшем курс на Лондон.

— Чтобы родиться вновь, — гораздо позже Джибриил Фариошта сказал Саладину Чамче, — сначала ты умри. Я, хоть и наполовину, но умирал дважды, в больнице и в самолёте, и это мне зачлось. А теперь,

мой глупый друг, я стою перед тобой в самом настоящем Лондоне, возрождённый, новый человек с новой жизнью впереди. Черпачок, разве это не прекрасно?

Почему он сбежал?

Из-за неё, из-за её признания, из-за их общей неистовости, из-за неумолимости того невозможного, которое заявляло о своих правах.

Или, может быть, из-за кары, постигшей его после того, как он наелся свинины, из-за преследовавших его по ночам снов возмездия, не дававших ему покоя.

- 3 -

Едва самолёт поднялся в воздух, благодаря сотворённому худым, лет сорока пассажиром магическому знаку, то бишь скрещённым по два пальцам на обеих руках и крутящимся большим пальцам, как он, сидя возле окна в отсеке для некурящих, оторвал взгляд от родного города, словно змея сбросила старую кожу, и на его лице, красивом тяжеловатой патрицианской красотой, промелькнуло радостное выражение. Большой толстый рот с опущенными уголками губ обычно придавал ему недовольное выражение. Глаза под тонкими, высоко поднятыми бровями смотрели на мир с лёгким презрением. Мистер Саладин Чамча тщательно трудился над своим лицом несколько лет, а потом долго привыкал к тому, что это его лицо, пока совершенно искренне не забыл, как выглядел прежде. Более того, он подобрал себе голос под стать лицу и нарочито, почти лениво тянул гласные, зато согласные по контрасту произносил отрывисто и словно со скрипом. Создание лица и голоса должно было стать многообещающим, однако во время его последней поездки в родной город, где он не был пятнадцать лет (ровно столько лет, должен заметить, Джибриил Фаришта царил в кино), его преследовали неприятности. Так неудачно получилось, что сначала голос, а потом и лицо подвели его.

Всё началось — Чамча смущённо разогнул пальцы, надеясь, что соседи ничего не заметили, а потом закрыл глаза и вздрогнул от малоприятного воспоминания, — когда он несколько недель назад летел на восток. Над песчаной пустыней возле Персидского залива он заснул, и во сне ему явился странный незнакомец со стеклянной кожей, который мрачно барабанил костяшками пальцев по тонкой и непрочной мембране, покрывавшей его, и просил Саладина оказать ему помощь, вызволив из телесной тюрьмы. Чамча подобрал камень и принялся колотить по

стеклу, отчего в дыры тотчас хлынула кровь, а когда Чамча попытался содрать стекло, оказалось, что оно приросло к мясу, и незнакомец закричал. В это мгновение стюардесса склонилась над Чамчой и с вежливой бесцеремонностью, присущей её племени, спросила: *"Что-нибудь выпьете, сэр?"* Саладин очнулся и с ужасом услыхал, что отвечает ей свои бомбейским голосом, о котором он так долго старался забыть.

— Что будете пить?

Стюардесса постаралась успокоить его, что вам угодно сэр, и всё такое, но он себя не узнавал.

— Ладно, детка, порядок, мне вискисоду.

Ужас какой! Чамча окончательно проснулся и выпрямился в кресле, не обращая внимания ни на виски, ни на орешки. Прошлое всё-таки вынырнуло на поверхность, таинственным образом переиначив все гласные и согласные. Что же теперь будет? Он опять начнёт поливать маслом волосы? Или сморкаться при помощи двух пальцев, шумно исторгая из себя серебристые сопли? Станет болельщиком? Что ещё может быть? Какие ещё дьявольские унижения ждут его? Разве он не знал, что *поездка домой* после стольких лет — ошибка и может привести только к деградации? Дурацкое путешествие. Он, вроде бы, отрицает время, восстаёт против хода истории — а от этого не жди ничего хорошего.

Я — это не я, подумал он, ощутив лёгкий трепет в области сердца. И что это значит, с горечью спросил он себя. В конце концов, "актёры — не люди", как Фредерик объяснял в "Детях райка". Маска на маске, а под ними — голый череп.

Засветилась надпись "пристегнуть ремни", и голос командира предупредил о возможных воздушных ямах, после чего самолёт упал. Пустыня внизу то приближалась, то удалялась, и севший в Катаре мигрант-рабочий, включив огромный транзистор, стал извергать из себя пищу. Чамча обратил внимание, что он не застегнул ремень, и, взяв себя в руки, произнёс с английской надменностью:

— Посмотрите, вы не...

Он махнул рукой, но парень, воспользовавшись бумажным пакетом, вовремя подсунутым ему Саладином, лишь покачал головой и пожал плечами.

— Ну и что, сахиб? Если Аллах пожелает, чтобы я умер, я умру. А если не пожелает, то всё равно не умру. Так зачем мне это?

Пропади ты пропадом, Индия, выругался про себя Саладин Чамча, вновь удобно устраиваясь в кресле. Пошла ты к чёрту! Я давно избавился от тебя, и ты ни за что не заграбастаешь меня обратно.

* * *

Давным-давно — *жили-не жили*, как начинаются старые сказки, *было-не было* — может быть, было, а, может быть, и нет, но нашёл десятилетний мальчик прямо возле своего бомбейского дома бумажник. Шёл он из школы и только-только выскочил из автобуса, в котором сидел, зажатый со всех сторон другими потными мальчишками в шортах, к тому же оглушительно оравшими, а так как он уже тогда страдал от хриплых голосов, потливости и толчеи, то почти терял сознание к концу ежедневных поездок. Так или иначе, но стоило ему разглядеть на земле чёрный кожаный бумажник, тошнить его мгновенно перестало. Он быстро наклонился, схватил... открыл... и увидел, к своей радости, много бумажек, не только рупий, но настоящих денег, имевших цену и на чёрном рынке, и вообще везде... фунтов! Фунты стерлингов из настоящего Лондона в волшебном вилайете, который лежит за дальними и чёрными морями. Потрясённый видом толстого бумажника, мальчик огляделся, не наблюдает ли кто за ним, и ему на мгновение показалось, что с неба в ответ на его молитву к нему сошла радуга, словно сотворённая ангельским дыханием. Одним концом она упёрлась как раз в то место, где он стоял. Дрожащими руками он потянулся за волшебным кладом.

— Дай сюда.

Даже когда Саладин стал взрослым, он не мог избавиться от ощущения, что отец постоянно следит за ним. Чангез Чамчавала был крупным мужчиной, даже великаном, а уж о его богатстве и положении в обществе и говорить нечего, но ходил он всегда неслышно и вечно тенью скользил за своим сыном, отравляя ему жизнь, сдёргивая с него по ночам простыню, чтобы посмотреть, как он сжимает в красной потной ладошке свой стыдливый пенис. Деньги же он чуял за сто и одну милю, даже сквозь облако разных запахов, витавших вокруг него, ибо он был самым крупным в стране фабрикантом искусственных удобрений и всякого рода распылителей. Филантроп, волокита, живая легенда, путеводная звезда националистического движения, Чангез Чамчавала одним прыжком одолел расстояние от ворот своего дома до того места, где стоял его сын, и выхватил у него из рук бумажник.

— Тш... тш... — предостерегающе прошипел он, пряча фунты стерлингов в карман. — Нельзя ничего поднимать с земли. Везде грязь, а деньги — сами по себе грязь. Вот так.

На полке в кабинете Чангеза Чамчавалы, отделанном тиковым деревом, возле десяти томов "Сказок тысячи и одной ночи" в переводе Ричарда Бартона, потихоньку подгрызаемых книжными червями и плес-

невевших из-за глубочайшей предубеждённости Чангеза Чамчавалы против книг, заставлявшей его собирать тысячи томов и подвергать их унизительному гниению, стояла волшебная лампа, сверкавшее медью воплощение лампы Аладдина. Она словно сама просила взять её в руки и потереть, однако Чангез к ней не притрагивался и другим не разрешал, даже сыну.

— Когда-нибудь, — говорил он, — она станет твоей. Тогда три её, сколько хочешь, и смотри, что из этого выйдет. А пока она моя.

Едва лампа перейдёт к нему, то есть к мистеру Салахуддину, все его несчастья кончатся и исполнятся заветные желания, значит надо ждать. А потом произошёл случай с деньгами и с волшебной радугой, сошедшей к нему, а не к его отцу, хотя отец украл у него кучу золота, и сын решил, что надо бежать, иначе он может забыть обо всех своих желаниях, и он стал мечтать только об одном — поскорее удрать туда, где между ним и его отцом ляжет океан.

К тринадцати годам Салахуддин Чамчавала точно знал, что его судьба — холодный вилайет, где много таких же фунтов стерлингов, какие были в чудесном бумажнике, и он всей душой возненавидел вульгарный пыльный Бомбей с полицейскими в шортах, трансвеститами, киножурналами, бездомными нищими на тротуарах и поющими шлюхами на Гранд-роуд, которые начинали как служительницы эламского культа в Карнаке, а заканчивали танцовщицами в более прозаических храмах плоти. Он был сыт по горло текстильными фабриками, местным транспортом, неразберихой и перенаселением, и мечта о вилайете, где царят покой и порядок, не оставляла его ни днём, ни ночью. Больше всего он любил повторять считалки, в которых звучали названия далёких городов. Китчи-кон, китчи-ки китчи-кон станти-ай китчи-опль китчи-нопль китчи-Кон-станти-нопль. А ещё любил изображать, как ходит его бабушка, и поворачиваться спиной к своим товарищам, чтобы бормотать как мантру шесть букв, заключавших в себе город его мечты, *эльоэн дэоэн*. В глубине души он потихоньку, буква за буквой, подбирался к Лондону, пока его приятели подбирались к нему. *Эльоэн дэоэн — Лондон*.

Превращение Салахуддина Чамчавалы в Саладина Чамчу началось, как вы понимаете, ещё в старом Бомбее задолго до того, как он услышал рыкающих львов на Трафальгарской площади. В один прекрасный день англичане приехали играть а крикет с индусами, и он молился за англичан, мечтая, чтобы создатели крикета одержали верх над выскочками и восторжествовала справедливость. (Однако игры проходили с переменным успехом, судя по сонливой медлительности табло, и великий спор создателей и имитаторов, колонизаторов и колонизированных остался неразрешённым.)

В тринадцать лет он уже был достаточно взрослым, чтобы играть на камнях Бузотёрки без присмотра няни Кастурбы. И как-то раз (может быть, это было, а, может, и не было) он вышел из огромного, осыпающегося, разъедаемого солью дома в парском стиле, с колоннами, ставнями и балкончиками, в сад, гордость и радость его отца, который при определённом электрическом освещении казался бесконечным (а ещё таинственным и загадочным, потому что ни садовник, ни отец, не могли сказать, как называются многие деревья и цветы), потом скользнул в главные ворота, грандиозное сооружение, имитировавшее римскую триумфальную арку Септимия Севера, пересёк запруженную людьми и животными улицу, перелез через стену и оказался, наконец, на чёрных камнях, в которых поблёскивали лужицы. Хихикали одетые в платья девушки-христианки. Молча, устремив взгляд на синий горизонт, стояли мужчины со сложенными зонтиками в руках. В каменной дыре Салахуддин заметил склонившегося над лужей мужчину в дхоти. Их глаза встретились, и мужчина приложил палец к губам.

— Ш-ш-ш...

Тайна камней и моря подтолкнули мальчика к тощему незнакомцу в очках, почему бы нет, в оправе из слоновой кости. Округлив указательный палец, он, словно на крюке, тащил к себе Салахуддина, а когда тот оказался близко, схватил его, зажал ему рот рукой и, сунув юную ладошку себе между ног, положил её на старую обвислую плоть. Дхоти ему не мешал. Салахуддин никогда не умел сопротивляться, поэтому он сделал, что от него требовалось, а потом незнакомец просто-напросто отвернулся, отпуская его на все четыре стороны.

Больше Салахуддин не рвался на Бузотёрку, но и ничего никому не сказал, предвидя истерику матери и попрёки отца. Всё стало ему отвратительно. Всё, что он знал о родном городе, воплотилось в костлявом объятии незнакомца, и если противный скелет остался в прошлом, то Бомбей тоже должен был остаться в прошлом. Или он умрёт. Постепенно все остальные мысли вытеснились из его головы, он больше ни о чём не мог думать, концентрируя всю свою волю на достижении единственной желанной цели, даже когда ел, когда спал, когда сквернословил, и всё время убеждал себя в том, что может добиться своего без отцовской лампы. Он мечтал выпрыгнуть из окна спальни и оказаться не в Бомбее, а в настоящем Лондоне, Бигбен Колоннанельсона Таверналордов Чёртовтауэр Королева. И, вот, он летит над огромным городом, теряя в весе и чёрт те что вытворяя в воздухе, но всё равно сначала спускаясь плавными спиралями, а потом падая всё быстрее и быстрее, пока, устремившись головой на Сентпол, Паддинглейн, Треднидлстрит, он не завопил, что было мочи, низвергаясь на Лондон, как бомба.

* * *

Когда случилось невозможное и отец неожиданно предложил ему учиться в Англии, *чтобы избавиться от меня*, подумал он, *а иначе зачем, но дарёному коню в зубы не смотрят*, то его мать Насрин Чамчавала не стала плакать, но зато принялась давать советы.

— Не ходи грязным, как англичане, — напутствовала она его. — Они только и делают, что обтираются мокрыми салфетками, и даже не меняют в ванне воду после друг друга.

По этой злой клевете Салахуддин сообразил, что мать ни за что не хочет его отпускать, но, несмотря на их взаимную любовь, он не пошёл у неё на поводу.

— Что ты говоришь, мама? В Англии великая цивилизация, а ты будто не знаешь!

Она улыбнулась, как всегда, почти незаметно и не стала спорить, а потом попрощалась с ним у триумфальной арки, не пожелав ехать в аэропорт, и у неё были сухие глаза. Единственное дитя. Она вешала ему на шею гирлянды цветов, пока у него не закружилась голова от пряного запаха материнской любви.

Насрин Чамчавала была, верно, самой худенькой женщиной на земле с проволочками или тонкими щепочками вместо костей, и, чтобы возместить свою физическую незначительность, она с малых лет привыкла носить броские вызывающие туалеты. Её сари слепили глаза: на лимонного цвета шёлке огромные парчовые бриллианты, непонятные чёрно-белые завитки в стиле оп-арта или гигантские губы, словно нарисованные красной помадой, на блестящем белом фоне. Люди прощали ей её ужасный вкус, потому что свои нелепые сари она носила, излучая неподдельное простодушие, и ещё потому что голосок, рождённый этой какофонией цвета, был на диво тоненьким, неуверенным и чистым. И ещё потому что друзья и знакомые любили её soirée[10].

В течение всей своей замужней жизни каждую пятницу она наполняла мрачные, как могильные склепы, залы в резиденции семьи Чамчавала ярким светом и хрупкими подругами. Маленький Салахуддин любил изображать привратника и с величайшей серьёзностью встречал разодетых и увешанных драгоценностями гостей, позволяя им гладить себя по голове и называть *умником* и *конфеткой*. По пятницам в доме становилось шумно. Кто только тут не перебывал: музыканты, певцы,

---

[10] Soirée (*фр.*) — званый вечер.

танцоры со всей Индии, западные звёзды, которых можно было услышать только по цейлонскому радио, и хриплоголосые кукольники, показывавшие, как нарисованные глиняные раджи с деревянными мечами садятся на игрушечных коней и побеждают таких же нарисованных врагов, ругая их на чём свет стоит. Во все остальные дни Насрин не ходила по дому, а бесшумно перепархивала с места на место, как лёгкая голубка, боясь нарушить сумрачную тишину. И её сын, не отходивший от неё ни на шаг, тоже почти научился летать, чтобы не тревожить притаившегося в темноте гоблина или ифрита.

И всё-таки ничто не могло уберечь жизнь Насрин Чамчавалы. Страх завладел ею и убил её, когда она считала себя в полной безопасности, ибо, завернувшись в украшенное газетными заголовками и фотографиями сари, она купалась в ярком свете, окружённая своими подругами.

* * *

Прошло пять с половиной лет с тех пор, как, увешанный гирляндами и напичканный советами, маленький Салахуддин поднялся в "Дуглас DC-8" и полетел на запад. Впереди была Англия, рядом сидел отец Чангез Чамчавала, а внизу остались дом и красивая мама. Так же, как Насрин, будущий Саладин не умел плакать.

В своём первом воздушном путешествии он читал научно-фантастические байки о межпланетных перелётах: "Конец вечности" Азимова и "Марсианские хроники" Рея Бредбери. Он представлял, будто "DC-8" материнский корабль, в котором Избранные Богом и Людьми пересекают немыслимые расстояния, евгенически воспроизводя поколение за поколением, чтобы когда-нибудь человеческое семя пустило корни в *дивном новом мире* под лучами жёлтого солнца. Потом он поправил себя: отцовский корабль, а не материнский, потому что в нём, на самом деле, летит он, великий человек, Аббу, Папа. Забыв о недавних сомнениях и огорчениях, тринадцатилетний Салахуддин вновь с детским обожанием смотрел на отца, потому что он да-да-да боготворил его, своего великого отца, и так было, пока ты не захотел жить свои умом и не принялся спорить с ним, якобы предавая свою любовь, но теперь об этом забудь, *я обвиняю его в том, что он стал для меня высшим существом, поэтому то, что случилось, было словно потерей веры*... Да, правильно, это отцовский корабль, он совсем не похож на летающее чрево,

нет, он — железный фаллос, а пассажиры — сперматозоиды, ожидающие своей очереди.

Пять с половиной часов. Другой временной пояс. Если в Бомбее повернуть часы вверх ногами, то как раз узнаешь лондонское время.

Мой отец, думал Чамча годы спустя, когда ему было очень плохо, мой отец, я обвиняю тебя в изменении времени.

Далеко ли они летели? Через пять с половиной тысяч лет, как ворон? Или из индийскости в английскость, то есть на не считанное расстояние? О нет, совсем не так далеко, потому что они взлетели в одном большом городе, а сели в другом. Все большие города расположены по соседству, зато крестьянин, отправляющийся за сотню миль, пересекает куда более пустынное, тёмное и страшное пространство.

Хотите знать, что сделал Чангез Чамчавала, когда самолёт оторвался от земли? Он, чтобы не видел его сын, скрестил попарно пальцы на обеих руках и покрутил вдобавок большими пальцами.

Когда же они устроились в отеле, стоявшем в нескольких футах от старинной виселицы, Чангез сказал сыну:

— Бери. Это принадлежит тебе.

Он протянул ему на ладони чёрный бумажник, безо всяких сомнений, тот самый бумажник.

— Теперь ты мужчина. Бери.

Возвращение конфискованного бумажника, да ещё со всем его содержимым, оказалось одной из ловушек, которые очень любил Чангез Чамчавала и которые Саладин за всю свою жизнь не научился распознавать. Едва отец вознамерился наказать его, как тотчас в его руках появлялся подарок, плитка заграничного шоколада или банка с особенно вкусным сыром, но стоило Салахуддину подойти поближе, отец хватал его мёртвой хваткой.

— Осёл, — издевался он над мальчиком. — Ты так любишь пряники, что тебя легко поймать под кнут.

Вот и в Лондоне мальчик принял взрослый подарок, а когда он попался на крючок, Чангез сказал:

— Ну, теперь ты мужчина и придётся тебе присматривать за стариком-отцом. Пока мы в Лондоне, будешь оплачивать счета.

Январь одна тысяча девятьсот шестьдесят первого года. 1961. Поворачивай, как хочешь, ничего не изменится. Стояла зима, но Салахуддин Чамчавала дрожал в своём отеле не от холода. Он чуть не сошёл с ума тогда. Золотой подарок неожиданно обернулся проклятием колдуна.

Две недели, прожитые в Лондоне до начала занятий в школе стали сплошным кошмаром расчётов и платежей, потому что Чангез был твёрд в своём обещании и ни разу не полез за деньгами в собственный карман. Салахуддину пришлось самому купить себе двубортный синий плащ и семь бело-синих рубашек от Ван Хейзена с жёсткими воротничками, которые Чангез заставил его носить все две недели, чтобы он привык, а Салахуддину иногда казалось, будто кто-то ножом перерезает ему горло под адамовым яблоком. Ещё ему надо было позаботиться, чтобы хватило заплатить за отель и за всё прочее, поэтому он ни разу, правда, ни разу не попросил отца сходить с ним в кино даже на "Адскую жизнь святого трио", не говоря уже о китайском ресторанчике. Потом ему нечего было вспомнить о своём первом двухнедельном пребывании в любимом Эльоэн дэоэн, кроме фунтов, шиллингов, пенсов. Точно так же было с учеником Чанакьи, который спросил философа, что он имел в виду, когда сказал, будто можно жить в этом мире и одновременно не жить в нём. Философ приказал ему принести кувшин, заполненный до самых краёв водой, для чего он должен был пройти по праздничной людной улице и не пролить ни капли под страхом смерти. Когда же он добрался до места, то ничего не смог рассказать о царившем вокруг него веселье, ибо ничего не видел и не слышал, заботясь только о кувшине.

Чангез Чамчавала вёл себя на удивление тихо, словно забыв о еде, о питье и обо всём прочем, и целыми днями просиживал в номере, с восторгом уставясь на экран телевизора, особенно если на нём появлялась "Флинтстоунс", потому что, как он объяснил сыну, Вилма-биби очень напоминала ему Нарсин. Салахуддин пытался доказать, что он тоже мужчина, постясь вместе с отцом, даже стараясь превзойти его, но у него ничего не вышло, и когда мучения стали нестерпимыми, он отправился в забегаловку поблизости, где продавали на вынос жаренных цыплят, — насаженные на вертела, они медленно истекали жиром в витрине. Оказавшись с цыплятами в холле отеля, Салахуддин смутился и, не найдя ничего лучшего, сунул их за пазуху, после чего с оттопыренным на груди плащом и горящими щеками вошёл в лифт. Старательно пряча свой груз от проницательных лифтёров и коридорных, он чувствовал, как внутри него вспыхивает ярость, которая будет жечь его четверть века и в которой сгорит его детская любовь к отцу. Тогда он заживёт сам по себе, не творя больше кумиров. Из этой самой ярости он будет ковать твёрдое решение стать тем, кем его отец не-был-и-не-мог-быть, то есть стопроцентным англичанином. Да-да, англичанином, даже если его мать права и в туалетах у них нет ничего, кроме бумаги, а вода в ванне холодная и грязная, и деревья стоят зимой голые, отчаянно вздымая ветки к чахлому немощному свету. Чего только не натягивал он на себя ночами, при-

выкнув в Индии к одной только лёгкой простыне, будто персонаж из древнего мифа, которого боги наказали тем, что положили ему на грудь валун. Всё равно он должен стать англичанином, даже несмотря на насмешки одноклассников над его произношением и их откровенный бойкот. Издевательства сверстников лишь подстегнули его в его намерении, и именно тогда он начал воплощать его в жизнь, надевая узнаваемые маски, белолицые клоунские маски, пока не обманул их всех и они не приняли его в свою компанию *таких-же-как-они*. Он обманул их, как разумный человек обманул бы горилл, чтобы они приняли его в свою семью, любили его, заботились о нём и не забывали совать в рот бананы.

(Когда он оплатил последний счёт и бумажник, найденный под радугой, опустел, отец сказал ему: "Теперь всё. У тебя свой путь. Я сделал из тебя мужчину". А что такое мужчина? Этого отцы не знают. Не знают, ни когда слишком рано, ни когда слишком поздно.)

Как-то вскоре после начала занятий в школе, он спустился к завтраку и обнаружил у себя в тарелке копчёную рыбу. Он долго смотрел на неё, не зная с чего начать. Потом отрезал кусок и положил его в рот вместе со множеством костей. Справившись с ними, он отрезал другой кусок, и опять всё сначала. В зале стояла гробовая тишина. Ни один из мальчишек не предложил, давай покажу, как это надо есть. Полтора часа он ел свою рыбу, и ему не разрешили выйти из-за стола, пока с ней не было покончено. К тому времени его всего трясло. И если бы он умел плакать, то заплакал бы. Гораздо позже он понял, что ему тогда преподали очень важный урок. Англия, на самом деле, странного вкуса копчёная рыба, в которой очень много костей, и справляться с ними приходится в одиночку без чьей-либо помощи. С тех пор он ожесточился.

— Я вам покажу, — поклялся он. — Ещё увидите.

Съеденная рыба стала его первой победой, его первым шагом на пути завоевания Англии.

Говорят, Вильгельм Завоеватель начал с того, что съел горсть английского песка.

* * *

Когда через пять лет, закончив школу, он перед началом занятий в английском университете навестил родной дом, его превращение в жителя холодного вилайета уже шло полным ходом.

— Вы только послушайте, как он всем недоволен, — в присутствии отца подшучивала над сыном Насрин. — Всё у него не так. И вен-

тиляторы плохо держатся на потолке. Он говорит, они нам отрежут головы, когда мы будем спать. И еда у нас жирная. И он хочет знать, почему мы всё жарим? И балконы у нас ненадёжные. И краска облупилась. И садом мы не занимаемся. Зарос он у нас, видите ли, и живём мы в джунглях. Вот так. И фильмы наши ему не по вкусу. И болезни у нас. И воду нельзя пить. Господи, он и вправду стал образованным, наш маленький Саллю. Он, мой муж, приехал из Англии и так красиво говорит...

Они прогуливались вечером по аллее и любовались тонущим в море солнцем. Салахуддин (после окончания английской школы уже называвший себя Саладином, но ещё остававшийся Чамчавалой, пока театральный агент не сократил его фамилию из коммерческих соображений) теперь знал многие растения. Хлебное дерево, смоковница, палисандровое дерево,баньян, платан. Маленькие чхуи-муи, или не-трожь-меня, росли возле его ровесника-ореха, посаженного отцом собственными руками, когда он родился. Отец и сын растерянно топтались возле него, не зная, что ответить на нежные сетования Насрин. Охваченный неожиданной печалью, Саладин размышлял о том, что сад, вроде, был лучше, пока он не узнал названий, и вообще он потерял что-то, чего уже никак не вернёшь обратно. А Чангез Чамчавала думал о том, что не смеет смотреть сыну в глаза, так как его взгляд леденит ему сердце. Когда же он заговорил, то нарочно отвернулся от восемнадцатилетнего дерева, а ведь во время их разлуки он часто воображал, будто в орехе осталась душа его сына, поэтому и слова он сказал неправильные, и сам как будто затвердел или замёрз, хотя всегда этого боялся, а теперь боялся, что не сможет быть другим.

— Скажи своему сыну, — заявил он Насрин, — если он поехал за границу, чтобы учиться там презирать своё, то и своё отторгнет его. Кто он такой? Фаунтлерой? Большая шишка? Неужели мне суждено потерять сына и получить взамен урода?

— Дорогой отец, — ответил ему Саладин, — всем, что во мне есть, я обязан тебе.

Это был их последний разговор. Всё лето они не могли простить друг друга, как ни старалась Насрин их примирить, *ты должен извиниться перед отцом, дорогой, ведь он, бедняжка, ужасно страдает и только из гордости не показывает вида.* Даже нянька Кастурба и её муж Валлабх пытались вмешаться, но ни отец, ни сын не пожелали сделать первый шаг.

— Они из одного теста, — сказала Кастурба, успокаивая Насрин. — Из одного теста и папочка, и сыночек, один к одному.

Когда в сентябре началась война с Пакистаном, Насрин решилась бросить ей вызов и не отменять свои пятничные приёмы, желая,

как она сказала, убедить всех, что "индусы-мусульмане умеют любить также сильно, как ненавидеть".

Заглянув ей в глаза, Чангез не стал спорить, однако велел слугам задёрнуть на всех окнах шторы. В тот вечер Саладин Чамчавала, надев английский смокинг, в последний раз сыграл привычную роль привратника, и гости — все те же самые, разве лишь припудренные временем, целовали его, напоминая ему о милом детстве.

— Посмотрите-ка, он совсем взрослый! Красавец, что и говорить!

Изо всех сил они прятали друг перед другом свой страх перед войной и перед *воздушными налётами*, о которых беспрерывно кричало радио, и их пальцы, прикасаясь к волосам Саладина, немного дрожали или, наоборот, были слишком неподвижны.

Когда завыли сирены, гости попрятались под кровати и в шкафы, и Насрин Чамчавала осталась одна за накрытым столом, стараясь успокоить их тем, что продолжала, как ни в чём не бывало, есть рыбу, поэтому никого не оказалось рядом, чтобы вытащить застрявшую у неё в горле кость. Её друзья дрожали по углам с закрытыми от страха глазами. Не выдержал даже победитель рыб и английский сноб Саладин. Насрин Чамчавала упала на пол и, дёрнувшись несколько раз, умерла. Когда сирена возвестила отбой и гости один за другим возвратились, хозяйка лежала бездыханная посреди столовой, украденная ангелом смерти, кхали-пили кхалаас, как говорят в Бомбее, пропавшая ни за что, ни про что.

* * *

Меньше чем через год после смерти Насрин Чамчавалы, которая, в отличие от своего учившегося в Англии сына, не сумела справиться с рыбными костями, Чангез, не сказав никому ни слова, женился вновь. Саладин в своём английском колледже получил от отца письмо, в котором он в самых высокопарных и устаревших выражениях, какими всегда изъяснялся в письмах, приказывал ему радоваться свершившемуся событию.

"Будь счастлив, — писал он, — что ушло, то вновь возвратилось".

Ниже Чангез объяснял малопонятную фразу, и Саладину стало известно, что мачеху тоже зовут Насрин, отчего у него помутилось в голове и он немедленно излил душу в таких злых и жестоких словах, какие

только возможны между сыном и отцом, но не между матерью и дочерью, ибо за этими словами прячутся вполне реальные и тяжёлые оплеухи. Чангез ответил первой же почтой всего четырьмя строками устаревших ругательств, хам дрянь наглец негодяй подлец сукин сын. "Имею честь сообщить, — писал он в конце, — что семейные отношения считаю впредь невозможными и вину за это возлагаю на твою совесть."

Год они молчали, а потом Саладин получил ещё одно письмо с прощением, стерпеть которое было ещё тяжелее, чем отлучение.

"Когда ты станешь отцом, о сын мой, — исповедовался Чангез Чамчавала, — ты тоже познаешь эти мгновения, ах, сладостные мгновения, когда берёшь на руки своего ребёнка, сажаешь его к себе на колени, а он, благословенный, молча (можно ли мне говорить попросту) *писает* на тебя. Наверное, в первую минуту ты испытаешь досаду, может быть, кровь у тебя в жилах вскипит от злости, но это скоро пройдёт, обязательно пройдёт. Взрослые ведь знают, что малыш не виноват? Он не ведает, что творит."

Саладин, до глубины души обиженный сравнением с описавшимся ребёнком, промолчал, как он думал, с достоинством. Окончив колледж, он получил британский паспорт, так как приехал ещё до ужесточения законов, и коротко информировал Чангеза о своём намерении поселиться в Лондоне и подыскать работу актёра. Ответ пришёл экспресс-почтой.

"Почему бы тебе не стать мерзким жиголо? Я давно знаю, что дьявол завладел твоими мозгами. Неужели ты, которому было много дано, не осознаёшь своего долга перед родиной, перед памятью матери, перед самим собой? Неужели ты думаешь всю жизнь профокусничать и програмасничать в свете рамп, целуя блондинок под взглядами людей, заплативших, чтобы поглазеть на твой позор? Ты мне больше не сын! Ты — *упырь, хуш*, демон из ада. Актёр! Может быть, ты посоветуешь, что мне сказать моим друзьям?"

Ниже он поставил подпись, а ещё ниже приписал обиженно: "Теперь у тебя есть собственный плохой джин, поэтому не надейся, что я завещаю тебе волшебную лампу."

* * *

Впоследствии Чангез Чамчавала писал сыну весьма нерегулярно, но каждый раз считал своим долгом порассуждать о демонах и об одержимости.

"Человек, нечестный сам с собой, становится двуногой ложью, худшим созданием шайтана, — писал он. — Сын мой, — с чувством продолжал он, — твоя душа в безопасности. Я храню её в ореховом дереве. Дьявол завладел только твоей плотью, поэтому, когда ты освободишься от него, возвращайся домой и вновь бери себе свою бессмертную душ. Она сейчас цветёт в саду."

Шли годы. У Чангеза менялся почерк. Всё, что сопутствовало его витиеватой напыщенности, исчезло, он стал писать суше и проще. Потом вообще бросил писать. От разных людей Саладин узнавал, что его отец всё больше уходит от земной жизни. Наступил день, когда он совсем превратился в отшельника, наверное, из желания спрятаться от мира, в котором демоны похитили тело его сына и в котором человеку истинной веры жить небезопасно.

Несмотря на отчуждение, Саладина огорчали происшедшие с отцом перемены. Его родители были мусульманами, однако бомбейскими мусульманами, то есть терпимыми к человеческим слабостям. Когда Саладин был маленьким, его отец Чангез Чамчавала был для него куда более всесильным божеством, чем все аллахи вместе взятые, и то, что теперь этот самый отец, этот языческий бог (хотя и дискредитировавший себя), в старости вдруг падает на колени и начинает бить поклоны в сторону Мекки, оказалось недоступным пониманию его безбожного сына.

— Будь проклята его ведьма, — сказал он сам себе, принимая язык заклинателей и домовых, на котором теперь изъяснялся его отец. — Будь проклята Насрин Вторая! Нет уж, изменился не мой почерк!

Писем больше не было. Один год сменялся другим, и в конце концов актёр Саладин Чамча, преуспевавший в своём ремесле, возвратился в Бомбей в составе труппы "Просперо Плейерс", чтобы сыграть доктора-индуса в "Миллионерше" Джорджа Бернарада Шоу. На сцене в зависимости от роли он менял тембр голоса, и произношение, однако и вне сцены у него вдруг стали проскальзывать давно забытые словечки, не говоря уже об исковерканных гласных и согласных. Голос предавал его, и он понял, что предать его может не только голос.

* * *

Если смотреть с одной стороны, человек, который ставит перед собой цель подняться выше других, посягает на роль Создателя и делается выродком, богохульником, самым мерзким из мерзких существ. Однако, с другой стороны, в его поведении есть пафос, в его борьбе — ге-

роизм, в его стремлении — риск, ведь выживают далеко не все мутанты. Но есть ещё и социополитическая точка зрения. Большинство мутантов учится и научается маскироваться. Наши лживые речи противостоят окружающей нас лжи, чтобы ради нашей же безопасности защитить наше тайное "я".

Человек, который ставит над собой опыт, нуждается в ком-то, кто должен постоянно восхвалять его достижения. Думаете, опять игра в Бога? Спуститесь пониже и вспомните фей, которые не появляются, если дети не хлопают в ладоши. Или скажите попросту: это значит быть человеком.

Важно не только, чтобы верили в тебя, важно ещё самому в кого-то верить. Теперь вы поняли? Ну, конечно же, это Любовь.

Саладин Чамча встретился с Памелой Лавлейс за пять с половиной дней до конца 1960 года, когда у женщин были в моде косынки. Она стояла посреди комнаты, где было полным-полно актрис-статисток, и смотрела на него сияющими глазами, да ещё какими сияющими. Весь вечер он не отходил от неё ни на шаг, и она ни на минуту не переставала смеяться, а потом ушла с другим. Тогда он вернулся домой, мечтая об её глазах, её улыбке, её стройном теле, её коже. Два года ему пришлось добиваться её. Англия неохотно отдаёт свои сокровища. Он сам удивлялся своей настойчивости, а потом понял, что она стала частью его судьбы, и если бы он не получил её, это означало бы полный провал.

— Позволь мне, — просил он с виноватым видом, тихонько удерживая её за белую шубку, когда она уезжала от него ночью на автобусе. — Поверь мне. Я твой.

Однажды вечером, причём *совершенно неожиданно*, она позволила и сказала, что верит, после чего он, не теряя времени даром и боясь, как бы она не передумала, женился на ней, но он не научился читать её мысли. Когда ей было плохо, она запиралась в спальне.

— Не хочу, чтобы меня видели в таком состоянии, — говорила она ему. — И ты тоже.

Он называл её улиткой.

— Открой! — кричал он, барабаня в двери сначала подвала, потом мансарды, потом своего дома. — Я люблю тебя. Пусти меня!

Она была отчаянно нужна ему, чтобы спасать его от самого себя, и он ни разу не заметил в её ослепительной улыбке тоску и в сияющих глазах ужаса, с которыми она взирала на мир, тем более не понимал, почему ей надо прятаться, когда она уставала блистать. Слишком поздно она рассказала ему, что её родители покончили жизнь самоубийством, проигравшись в пух и прах, едва у неё начались менструации, и оставили ей в наследство аристократические манеры, отчего все счита-

ли её счастливицей и завидовали ей, а на самом деле она была брошенной и очень страдала, потому что её родители не побеспокоились подождать, пока она повзрослеет и убедится в их великой любви *к ней*, в которую теперь она совсем не верила, поэтому улыбалась и улыбалась, а примерно раз в неделю запиралась на ключ и её трясло, словно она была вылущенным кукурузным початком, пустым орехом или безмозглой обезьяной.

С детьми у них ничего не получалось, и она винила в этом себя. А через десять лет Саладин выяснил, что дело в его хромосомах, то ли слишком длинных, то ли слишком коротких, этого он не запомнил. Генетическое наследство. Счастье ещё, что он сам выжил и не стал идиотом. Кто виноват, отец или мать, врачи ему не сказали, но он-то знал, в ком причина его бед, и легко догадаться, о ком он думал, ведь не годится плохо вспоминать о мёртвых.

Под конец у них совсем разладилось.

Но Саладин только потом позволил себе это признать.

Потом он сказал себе, что их постигла неудача, может быть, из-за отсутствия детей, может быть из-за отдаления друг от друга, может быть, из-за того и другого вместе.

А пока они жили вместе, он старался не замечать ни рытвин, ни ухабов, просто-напросто закрывал глаза и ждал, когда вновь появится её сияющая улыбка. Он позволял себе верить в её улыбку, чудесно выражавшую радость жизни.

Изо всех сил он придумывал для них счастливое будущее, и сам верил в него всей душой. По пути в Индию он размышлял о том, как ему повезло, что он нашёл её, да, я счастливый, а я и не спорю, я самый счастливый ублюдок на земле. И ещё: как замечательно, что впереди длинная тенистая аллея непрожитых лет и долгое старение в лучах её нежности.

Он очень старался и поэтому убедил себя в реальности своих мечтаний, так что когда он отправился в постель с Зини Вакил через сорок восемь часов после посадки в Бомбее, первое, что он сделал прежде, чем переспать с ней, он потерял сознание и даже похолодел, потому что его мозг одолевали совершенно не согласовавшиеся между собой послания извне, как будто правым глазом он видел, как земля движется влево, а левым — вправо.

* * *

Зини стала первой индийской женщиной, с которой он переспал. Со своими руками оперной дивы и скрипучим голосом она буквально вломилась в его уборную после первого представления "Миллионерши", словно их не разделяли долгие годы. *Годы.*

— Ой, я так ждала, весь вечер ждала, что ты запоёшь, как Питер Селлерс. Я думала, надо его послушать. Помнишь, ты изображал Элвиса? Ты очень кричал, дорогой, и фальшивил, но было весело. Что? В пьесе нет песен? Вот чёрт! Послушай, а не сбежать ли тебе от твоих бледнолицых, и мы прошвырнёмся, как раньше. Ты не забыл?

Он не забыл тощего подростка с кривой чёлкой и такой же улыбкой, только скошенной в другую сторону. Бедовая была девчонка. Один раз она чёрт знает зачем отправилась в ресторан на Фоуклендроуд и долго сидела, потягивая кока-колу и покуривая сигарету, пока завсегдатайки не пригрозили порезать ей лицо, ибо там и речи не могло быть ни о какой самодеятельности. Она же, смерив их взглядом, сначала докурила сигарету и только потом ушла. Бесстрашная была. Может быть, сумасшедшая. А теперь ей тридцать и она — дипломированный врач, консультант в больнице "Брич Кэнди", лечит бездомных, была в Бхопале, когда прошёл слух, будто невидимое американское облако разъедает людям глаза и лёгкие. Ещё она написала книгу об ограничительном мифе аутентичности, этой фольклорной смирительной рубашке, которую она хотела заменить исторически обоснованным эклектизмом, ибо национальная культура всегда основана на принципиальном воровстве подходящей одежонки у арийцев, у моголов, у британцев, хватай-что-получше. И эта книга — *"Хороший индус"*— вызвала бурю негодования.

— Это значит мёртвый индус, — пояснила она Чамче, когда дарила ему надписанный экземпляр. — Как можно быть хорошим, если ты темнокожий? Индийский фундаментализм. На самом деле, мы все — плохие индусы. Только одни совсем плохие, а другие получше.

Она стала замечательной красавицей, и особенно хороши были её длинные распущенные волосы. От костлявой девчонки ничего и в помине не осталось. Через пять часов после того, как она ворвалась в гримёрную, они легли в постель и он отключился.

— Это я тебя усыпила, — сказала она, когда он пришёл в себя.

Он не понял, шутит она или говорит правду.

Зинат Вакил изложила ему свой план.

— Возражения не принимаются, — заявила она. — Мы хотим вернуть тебя обратно.

Время от времени ему казалось, что она собирается сделать это, съев его заживо, ибо любила его как людоедка, добравшаяся наконец до человечины.

— Тебе известно, — спросил он, — о связи вегетарианства с людоедством?

Зини, не отрываясь от его голого бедра, покачала головой.

— В некоторых, естественно, крайних случая, — продолжал он, — слишком долгая диета провоцирует людоедские фантазии.

Она подняла голову и лукаво улыбнулась ему. Прелестная вампирша Зини.

— Перестань, — промурлыкала она. — Мы — нация вегетарианцев и наша культура — самая мирная и загадочная, это все знают.

Ему приходилось вести себя очень осторожно. Едва он в первый раз коснулся её грудей, как у неё из глаз брызнули горячие слёзы, видом и цветом похожие на молоко буйволицы. Ей выпало на долю смотреть, как умирает её мать, словно разрезанная на обед птичка, потому что сначала её удалили левую грудь, потом правую, но остановить рак не удалось. Больше всего на свете Зини боялась повторить судьбу своей матери. Это был тайный ужас бесстрашной Зини. Она не родила ни одного ребёнка, но из глаз у неё капало настоящее молоко.

Едва придя в себя от первых объятий, она заговорила, забыв о слезах:

— Я знаю, ты не сомневаешься насчёт того, кто ты есть. А ты есть дезертир, англичанин, и твоя английская речь нужна тебе вроде знамени, только не думай, что всё уж так хорошо, потому что, бабá, она так же недолговечна, как фальшивые усы.

"Происходит что-то странное, — хотел он сказать ей, — особенно с моим голосом," — но он не знал, как выразить свои чувства и прикусил язык.

— Такие, как ты, — фыркнула она, целуя его в плечо, — не показывают носа много лет, а потом, Бог знает, что о себе воображают.

Она ещё ярче сияла улыбкой, чем Памела.

— Я вижу, — заметил он, — у тебя всё такая же улыбка, как в рекламе Бинаки.

Бинака. Что это ему вдруг припомнилась давно забытая зубная паста? и гласные звуки он произносит совсем не так, как ему хотелось бы. Смотри, Чамча, лучше за своей тенью, а не то этот чёрный так и будет везде ходить за тобой.

На второй спектакль она явилась в сопровождении двух приятелей, молодого режиссёра и марксиста Джорджа Миранды, похожего на неуклюжего кита в рубашке с закатанными рукавами и в расстёгнутом жилете в пятнах, а ещё, как ни странно, с офицерскими усиками, лихо загнутыми вверх, и поэта, журналиста почти совсем седого Бхупена Ганди с детски-простодушным лицом, правда, это впечатление мгновенное исчезало, едва он разражался хитрым смехом, сотрясавшим всё его тело.

— Пойдёмте, Салад-баба, — потребовала Зини. — Мы покажем вам город. — Она повернулась к своим спутникам. — У этих *азиатов* из-за границы совсем нет стыда, — объявила она. — Саладин, чёртова салатница, я к тебе обращаюсь.

— Тут недавно приходила одна с телевидения, — сказал Джордж Миранда, — с розовыми волосами. Назвалась Керлидой. Я что-то ничего не понял.

— Джордж очень неискушён, — вмешалась Зини. — Он представления не имеет, какими вы можете быть. Эта мисс Сингх высший сорт. Я ей сказала, Кхалида, дорогуша, рифмуется с Далда, а это всё равно кухня. Но она себя не выдала. Не назвала настоящего имени. Возьми меня к твоему отцу. У таких, как ты, нет культуры. Вы просто чернокожие. Я не права? — спросила она и округлила глаза, словно испугавшись, не зашла ли слишком далеко.

— Хватит, Зинат, — тихо произнёс Бхупен Ганди.

— Не обижайтесь, — пробормотал Джордж. — Это мы так шутим.

Чамча почёл за лучшее улыбнуться, но решил не оставаться в долгу.

— Знаешь, Зини, индусов повсюду полно. Мы — жестянщики в Австралии, и мы повязываем себе головы, как принято у Иди Амина. Колумб был прав. Весь мир — Индия. Восточная Индия, Западная Индия, Северная Индия. Чёрт побери, ты должна нами гордиться. Должна гордиться тем, как мы работаем, как одолеваем границы. Но ты права, мы не такие индусы, как ты, и тебе придётся с этим мириться. Как называется твоя книжка?

— Послушайте. — Зини взяла его под руку. — Нет, вы только послушайте моего Салада. Оказывается, он тоже хочет быть индусом, хотя всю жизнь мечтал стать белым. Что ж, значит, не всё потеряно. Он ещё не совсем умер.

Чамча почувствовал, как заливается краской стыда. Индия. Это она переворачивает всё с ног на голову.

— Ради Бога, — Зини чмокнула его в щёку. — *Чамча*, плюнь и не обращай внимания. Ведь ты сам назвал себя мистером Лизоблюдом и ещё хочешь, чтобы мы не смеялись.

* * *

В побитой машине Зини, специально сконструированной для слуг, в которой заднее сидение было удобнее переднего, он почувствовал, как его обволакивает ночная тьма, очень похожая на плотную людскую толпу. Это Индия мерила его своей забытой огромностью, своим неотвратимым присутствием, своей неизменной проклятой неразберихой. Беглянка-амазонка встала перед ними во весь рост в виде индийской колдуньи, укомплектованной серебристым "трайдентом" и останавливающей властной рукой движение на дороге. Чамча вглядывался в её сверкающие глаза. Джибриил Фаришта, знаменитая кинозвезда, исчезнувшая невесть куда и гниющая на деревянных щитах. Камни, мусор, шум. Мимо проносилась реклама сигарет. НОЖНИЦЫ — ДЛЯ ДЕЛОВОГО МУЖЧИНЫ, УМЕЮЩЕГО НАСЛАЖДАТЬСЯ. И нечто, совершенно неправдоподобное: ПАНАМА — УГОЛОК ВЕЛИКОЙ ИНДИИ.

— Куда мы едем?

Ночь окрасилась в зелёный неоновый цвет, когда Зини припарковала машину.

— Ты заблудился, — укорила она его. — Что ты знаешь о Бомбее? А ведь это твой родной город, хотя он никогда не был для тебя родным. Детские иллюзии. Ты вырос на Бузотёрке, как будто это было на Луне. Никаких распивочных, никаких бардаков, одни скучные дома для прислуги. И Датта Самант не устраивал митинги около твоего дома? И твои соседи не голодали во время забастовки текстильщиков? Сколько же тебе было лет, когда ты впервые познакомился с профсоюзом? Сколько тебе было лет, когда ты в первый раз поехал общественным транспортом, а не в машине с шофёром? Прости, дорогой, но твой Бомбей — не Бомбей вовсе. Это Страна Чудес, Перистан, Зазеркалье, Страна Оз.

— А ты? — не выдержал Саладин. — Где жила ты?

— Там, — с вызовом ответила она. — где и все, будь они прокляты.

Улицы. Улочки. Ремонтировали храм джайнов, и все святые оказались завёрнутыми в пластиковые мешки. У продавца, расположившегося на тротуаре, газеты кишели кошмарами. Крушение поезда. Бху-

пен Ганди заговорил еле слышным шёпотом. После крушения, сказал он, спасшиеся бросились вплавь к берегу (поезд ехал по мосту), а на берегу их ждали местные жители и сбрасывали в воду, чтоб потом обобрать утопленников.

— Заткнись! — прикрикнула на него Зини. — Зачем ты ему рассказываешь? Он и так думает, будто мы низшие существа, дикари.

В магазинчике продавали сандаловые палочки, которые сжигали рядом, в храме Кришны, и кучу эмалированных розово-белых глаз всевидящего Кришны.

— Это уж слишком, — заявил Бхупен. — Правда.

* * *

В переполненной дхабе, куда Джордж стал заходить, начав заниматься кино, за столиками из алюминия пили тёмный ром, и вскоре, немного опьянев, Джордж и Бхупен повздорили. Зини предпочитала колу и ругала своих приятелей.

— Пьяные проблемы. Оба никуда не годятся, как старые горшки, оба отвратительно относятся к своим жёнам, вечно шляются по ресторанам и невесть на что тратят жизнь. Ничего удивительного, сладенький, что меня потянуло к тебе. Местное производство никуда не годится, так что приходится переходить на заморский товар.

Джордж был с Зини в Бхопале, отчего весьма расшумелся по поводу катастрофы, придавая ей идеологический оттенок.

— Что нам Америка? — вопрошал он. — Это не настоящее место. Там власть в чистейшем виде, лишённая плоти и невидимая глазу. — Он сравнил компанию "Юнион Карбайд" с троянским конём. — Мы сами пригласили этих ублюдков. — Он сказал, что это похоже на сказку о сорока разбойниках, которые, спрятавшись в кувшинах, ждали ночи. — К несчастью, у нас нет Али Бабы! — вскричал он. — А кто у нас есть? Мистер Раджив Г.

Бхупен Ганди вскочил, неловко отодвинул стул, и, как одержимый, принялся *вещать*:

— А я думаю, что дело вовсе не в иностранном вторжении. Мы всегда оправдываем себя и во всём виним пришельцев из Америки, Пакистана и чёрт знает откуда. Прошу прощения, Джордж, но я считаю, что начинать надо с Ассама.

Резня невинных. Фотографии уложенных в ряды детских трупов, словно солдаты на параде. Одни были забиты до смерти палками

или камнями, другим перерезали горло от уха до уха. Чамча помнил эти аккуратные ряды. Можно подумать, что только через кровавый кошмар Индии предопределено прийти к порядку.

Двадцать девять минут без пауз и передышек вещал Бхупен Ганди.

— Мы все виноваты в Ассаме, — сказал он. — Каждый из нас. И пока мы все не поймём это, не покаемся в крови детей, мы не можем называть себя цивилизованным народом.

Чем быстрее он говорил, тем больше поглощал рома и тем громче звучал его голос в воцарившейся тишине, и весь он странно согнулся, но никто не перебивал его и никто не обзывал пьяницей. Запнувшись посреди фразы, *каждый день мы закрываем глаза на убийства и воровство, так кто же мы такие*, он тяжело опустился на стул и уставился в свою рюмку.

Ему возразил юноша, поднявшийся со своего места в дальнем углу. Он крикнул, что Ассам надо понимать политически, и на то были экономические причины. Но тут вскочил ещё один и заявил, никто не имеет права забивать до смерти маленькую девочку. Однако нашёлся и третий, если вы так думаете, значит, вам не пришлось голодать, салах, ведь чертовски романтично думать, будто экономика не может превратить людей в скотов. Чамча всё крепче сжимал свою рюмку по мере того, как шум усиливался, воздух в зале сгущался и в лицо ему чаще сверкали золотые зубы. Чьи-то плечи тёрлись об него, чьи-то локти его толкали, потом воздух стал похож не крепкий бульон, сердце неровно забилось у него в груди, но Джордж схватил его за руку и вытащил на улицу.

— Ты в порядке, приятель? А то совсем позеленел!

— Я устал. Ещё ром, — сказал Чамча. — После спектакля у меня всегда нервы не в порядке. Бывает, здорово качает. А я забыл.

Зини смотрела ему прямо в глаза не только с жалостью. У неё был сверкающий и твёрдый взгляд победительницы. *Что-то до тебя дошло*, — как бы говорила она, — *о нашем проклятом времени*.

Если не умрёшь от тифа, подумал Чамча, то не заболеешь лет десять. А потом опять всё сначала. Антитела куда-то исчезают. Ему пришлось признать, что в его крови нет антител, благодаря которым он мог бы спокойно взирать на индийскую реальность. Ром, сердце, душа. Пора в постель.

Она привезла его не к себе, а опять в отель, где юные арабы с золотыми медальонами важно расхаживали в полночь по коридорам, не выпуская из рук бутылок с контрабандным виски. Не скинув ботинок и лишь распустив галстук, он лежал на кровати, закрыв глаза руками, а

она в белом, гостиничном халате наклонилась над ним и целовала его в подбородок.

— Я знаю, что с тобой сегодня, — говорила она. — Признайся, мы разбили твою раковину.

Он разозлился и сел.

— Это никого не касается, — вспыхнул он. — Пусть я индус, ставший англичанином. Но когда я здесь говорю по-нашему, все сразу становятся вежливыми. Вот так.

Заплутавший в желе чужого языка, он вдруг услыхал в индийском Вавилоне недвусмысленное предупреждение: не возвращайся. Если ты войдёшь в Зазеркалье, тебя поджидает опасность. Зеркало может порезать тебя на кусочки.

— Я очень гордилась Бхупеном сегодня, — сказала Зини, забираясь в постель. — Много ли есть на свете стран, где приходишь в бар и так разговариваешь? Со страстью, но всерьёз и с уважением к окружающим. А ты, лизоблюдик, всё-таки наш, и мне это нравится.

— Отстань от меня, — взмолился он. — Терпеть не могу, когда на меня набрасываются без предупреждения. Я уже не помню правил семи печатей молчания и святая святых, не говоря уж о молитвах, а в этом городе, где я вырос, я заблужусь, если останусь один. Он мне не дом. У меня голова идёт кругом, потому что он вроде бы дом и не дом. И сердце начинает болеть.

— Глупец! — крикнула она. — Глупец! Меняй шкуру! Проклятый дурак! Ты же можешь!

Вихрь, сирена, она искушала его вернуться к себе, каким он был в далёкие времена. Но тот Чамча уже умер, стал тенью, призраком, и этому Чамче вовсе не хотелось превращаться в фантом. В его бумажнике лежал обратный билет на самолёт в Лондон, и он собирался им воспользоваться.

* * *

— Так ты не замужем, — сказал он, когда они лежали без сна в предутренних сумерках.

Зини фыркнула.

— Тебя и вправду давно не было. Ты что, не видишь? Я же чёрная.

Она выгнула спину и сбросила простыню, демонстрируя свою щедрую плоть. Когда королева разбойников Пхулан Деви вышла из ук-

рытия, чтобы сдаться, её тотчас сфотографировали, и все газеты в один голос опровергли собственный миф о её *сказочной красоте*. Она стала *самой обыкновенной и никому не нужной*, а ведь ещё недавно *она даже гурманам была по вкусу*. Темнокожая из северной Индии.

— Ещё чего! — возмутился Саладин. — Не думаешь же ты, что я тебе поверю.

Она рассмеялась.

— Господи, а ведь ты не совсем идиот ещё. Ну, кому нужно твоё замужество? У меня есть работа.

Помолчав, она тоже задала ему вопрос. Ну, *рассказывай, ты как?*

Не только женат, но и давно женат.

— Вот оно что! И как вы живёте?

В шестиэтажном доме на Ноттинг-хилл. В последнее время там неспокойно, потому что воры охотятся не только за видео и стерео, но и за волкодавами. Нельзя жить там, где уголовники воруют собак. Памела говорит, это старинный обычай. В стародавние времена, так она говорит (Памела поделила историю на античную эру, тёмные века, стародавние времена, Британскую империю, современность и сегодня), кража щенков была делом выгодным. Бедняки воровали собак у богатых, дрессировали их, чтобы они забывали свои имена, и продавали обратно безутешным хозяевам, которые владели магазинами на Портобелло-роуд. Памела много чего знает, только верить ей трудно.

— Чёрт возьми, — сказала тогда Зини Вакил, — тебе надо продать всё и уехать. Знаю я твоих англичан. Все они одинаковые, ничего не упустят. Тебе не справиться с их дурацкими традициями.

Моя жена Памела Лавлейс хрупкая, как фарфор, стройная, как газель, вспомнил *он. Я пускаю корни в женщинах, которых люблю*. У неверующих всегда так. Он решил забыть о женщинах и заговорил о работе.

Когда Зини Вакил узнала, каким образом Саладин Чамча сделал свои деньги, она стала так орать, что один из арабских мальчиков с медальонами заглянул справиться, всё ли в порядке. Он увидел прелестную женщину, сидевшую в постели и проливавшую слёзы, похожие на молоко буйволицы, после чего извинился перед Чамчой за вторжение и торопливо исчез, *прошу прощения, парень, тебе повезло*.

— Бедная твоя головушка, — кричала Зини между приступами хохота. — Англичане — ублюдки. Они взяли тебя в оборот.

Его работа забавляла её.

— У меня дар к языкам, — обиженно проговорил он. — Почему я не должен был это использовать?

— Почему не использовать? — передразнила она его, дрыгая в воздухе ногами. — Мистер Актёр, ваши усы опять не на месте.

О, Господи!

Что со мной происходит?

Какого чёрта?

На помощь!

Так как у него, в самом деле, был дар, правда, был, то он стал Человеком с тысячью и одним голосами. Если вам интересно, каким голосом говорит бутылка с кетчупом в телерекламе, или если вы не знаете, какой голос больше всего подходит для пакетика с хрустящим картофелем, вам нужен именно он. Это он заставлял говорить ковры, перевоплощался в консервированные бобы и в замороженную молодую фасоль. По радио он мог убедить любого, что он русский, китаец, сицилиец, президент Соединённых Штатов. Один раз он участвовал в пьесе, в которой было тридцать семь голосов, и он говорил всеми, естественно, под псевдонимами, чтобы никто ни о чём не догадался. Со своей партнёршей Мими Мамулян, ни в чём ему не уступавшей, он царил на радиоволнах Британии. Вдвоём они могли практически всё, и Мими, бывало, даже говорила: "При нас нельзя упоминать антимонопольный комитет даже в шутку". Чего только она не умела: любой возраст, любой акцент, любой тембр — от ангельской Джульетты до демонической Мей Уэст.

— Когда ты разведёшься, мы с тобой поженимся, — сказала как-то Мими. — И станем Организацией Объединённых Наций.

— Ты — еврейка, — возразил он. — А у меня свой взгляд на евреев.

— Что ж. Я — еврейка, — пожала она плечами. — А ты обрезанный. Нет совершенства в это мире.

Мими была худенькой с густыми чёрными кудрями и очень похожа на рекламу Микала. В Бомбее, потягиваясь и зевая, Зинат Вакил вытеснила из мыслей Саладина всех остальных женщин.

— Это уж слишком, — смеялась она. — Они платят, чтобы ты подражал им, но не желают видеть тебя. Твой голос приобрёл славу, но они прячут твоё лицо. Почему, не знаешь? У тебя на носу веснушки? Или ты страдаешь косоглазием? Ну, малыш, придумай что-нибудь. Держу пари, у тебя мозги из салата.

Правильно, подумал он. Саладин и Мими стали легендами, правда, легендами-калеками, тёмными звёздами. Их поля притягивали работу, но сами они оставались невидимыми, всё отдав своим голосам. На радио Мими могла стать Венерой Боттичелли, Олимпией, Мэрилин Монро, любой женщиной, какой только пожелала бы. И ей было плевать,

как она выглядит. Она — это её голос, который стоил очень дорого, и три юные женщины безнадежно клялись ей в любви. А ещё она покупала недвижимость.

— Это невроз, — ничуть не стыдясь, признавалась она друзьям. — Неодолимая страсть к корням, пронизывающая армяно-еврейскую историю. А, может, безрассудство, связанное с возрастом и полипами. Как бы там ни было, недвижимость успокаивает. Рекомендую. — Она владела домом священника в Норфолке и фермой в Нормандии, колокольней в Тоскане и частью берега где-то в Богемии. — Везде призраки. Треск, шум, звон, кровь на коврах, женщины в ночных рубашках, часы. Никто не отдаёт свою землю без борьбы.

Никто, кроме меня, думал Чамча, впадая в меланхолию под бочком у Зинат Вакил. Может быть, я тоже призрак. Призрак с билетом на самолёт, с удачей, с деньгами, с женой. Тень, которая живёт в материальном мире. И владеет собственностью. Да, сэр.

Зини, играя его волосами, зачёсывала их ему за уши.

— Знаешь, когда ты вот так спокоен, — пробормотала она, — когда никого не передразниваешь и не корчишь из себя важную персону, когда забываешь о людях, окружающих тебя, ты похож на пустышку. Ты это знаешь? Словно никого нет дома. От злости я готова тебя ударить, чтобы ты вернулся обратно. Но мне тебя жалко, дурачок. Ты стал большой звездой, но не того цвета, чтобы тебя показывали по телевизору. И ты приезжаешь в чёрную страну с дешёвой труппой, чтобы сыграть на сцене индуса. Они бьют тебя, а ты всё равно остаёшься, ты любишь их, потому что у тебя рабская психология, Чамча, чёрт бы тебя подрал. — Она схватила его за плечи и затрясла его, сидя всего в нескольких дюймах со своими запретными грудями. — Салад-баба, называй себя, как хочешь, но только возвращайся домой.

Большой шанс, который мог принести кучу денег, начинался с пустяка, с детской программы "Шоу чужестранцев", придуманной Мюнстерами из "Звёздных войн" по типу "Сезамской улицы". Комедия положений об инопланетянах, причём самых разных — от привлекательных до психопатов, от животных до овощей и даже минералов. В ней, например, должен был быть искусственный камень, парящий в безвоздушном пространстве и доискивающийся до минералов, из которых он состоит, а потом преобразующий себя для следующего эпизода. Камень они назвали Пигмалионом. А ещё продюсеры проявили настоящее чувство юмора, выдумав грубое рыкающее существо, тошнотворный кактус с безлюдной планеты на краю времени, Матильду-австралийку, и трёх гротескно-воздушных сирен из космоса — чужестранок Корнс, возможно для того, чтобы было, с кем лечь, а ещё в ней должны были участвовать

меланхолики-прыгуны с Венеры, рисовальщики из подземных переходов и духовные братья, называющие себя Чужестранной нацией. Под кроватью, где происходили основные события, жил сбежавший от отца гигантский навозный жук Багси из туманности Рака. Аквариум занимал Брейнс, супер-интеллектуальный моллюск-великан, которому нравилось поедать китайцев. А ещё был очень страшный Ридли, похожий на нарисованные Фрэнсисом Бэконом жуткие зубы, покачивающийся на краю невидимого стручка и одержимый актрисой Сигурни Уивер. Главными персонажами шоу, его Кермитом и мисс Пигги, были модные, хорошо одетые, сногсшибательно причёсанные Максим и Мамочка Чужаки, заработавшие себе право стать — кем? — телеперсонажами. Их играли Саладин Чамча и Мими Мамулян. Вместе с платьем они меняли голоса, не говоря уж о цвете волос, который мог быть в одной сцене фиолетовым, а в другой ярко-красным, и о причёсках, которые то возвышались на три фута, то вовсе отсутствовали. Черты лица, руки, ноги, носы, уши, глаза тоже менялись по мере надобности и вместе с ними менялись звуки, издаваемые легендарными глотками. Хитом это шоу стало благодаря последним достижением компьютерной графики. Все декорации — космический корабль, чужие планеты, игровые студии в галактике — создал компьютер. Актёры тоже проходили через машины, обязанные каждый день по четыре часа проводить в чёрт знает каком гриме, пока техника превращала их в несуществующие образы. Космический плейбой Максим и Мамочка, непобедимая чемпионка по борьбе и королева спагетти вселенной, стали сенсацией. Пришёл их час. Америка. Евровидение. Весь мир.

По мере того, как "Шоу чужестранцев" разрасталось, у него появились политические оппоненты. Консерваторы нападали на него из-за многочисленных сцен насилия., из-за откровенной сексуальности (Ридли Уивер), из-за *мистичности* происходящего. Радикальным комментаторам вдруг перестали нравиться стереотипы, слабаки-чужестранцы, отсутствие положительных героев. Чамче пришлось оставить шоу, его выгнали, и в него полетели все стрелы.

— Хочу домой, — пожаловался он Зини. — В проклятом шоу не было никакой аллегории. Это просто развлекательная программа. Она должна была доставлять удовольствие.

— Кому доставлять удовольствие? — пожелала узнать Зини. — Даже теперь они дают тебе эфир, только если ты закрываешь лицо и надеваешь рыжий парик. Разве это хорошо, скажи на милость?

На другое утро, когда они проснулись, она продолжила разговор.

— Знаешь, Салад, миленький, ты очень красивый, и не спорь со мной. Англия отплатила тебе кожей, как молоко, и теперь, когда Джибриил выбыл, ты можешь стать вместо него. Я серьёзно. Им нужно новое лицо. Возвращайся, и ты им станешь. Ты станешь больше, чем Баччан, и больше, чем Фаришта. У тебя не такое смешное лицо, как у них.

Он сказал ей, что когда был молодым, каждый кусочек его жизни и каждое опробованное им "я" радовали его своей недолговечностью. Его не смущали никакие несовершенства, потому что он легко мог заменить одно мгновение на другое, одного Саладина на другого. А теперь перемены стали болезненными, видно, мышцы потеряли эластичность.

— Мне нелегко говорить, но я женат, и не только на своей жене, но ещё на своей жизни. — *Вновь ему отказал голос.* — Я, правда, приехал в Бомбей не просто так. И дело не в пьесе. Ему уже далеко за семьдесят, и у меня может не быть другого случая. Он не пришёл на спектакль. Мухаммад должен идти к горе.

Мой отец Чангез Чамчавала, которому принадлежит волшебная лампа.

— Чангез Чамчавала? Ты шутишь! Только не думай, что сможешь поехать без меня. — Она хлопнула в ладоши. — Надо привести в порядок волосы и ногти.

Его отец — великий затворник. Бомбей же — культура подделок. В архитектуре — стилизация под высотные дома, в кино — бесконечные варианты "Великолепной семёрки" и "Любовной истории", в которых герой должен спасти хотя бы одну деревню от бандитов, а героиня должна умереть от лейкемии, по крайней мере, один раз и желательно в начале. Миллионеры тоже строили свою жизнь по западному образцу. Затворничество Чангеза было индийской мечтой о миллионных проигрышах в Лас-Вегасе. Однако, мечта — не фотография, и Зини хотелось всё увидеть собственными глазами.

— Он имеет обыкновение гримасничать, если он в плохом настроении, — предупредил её Саладин. — Никто не верит, но это правда. Ещё как гримасничает! Куда там горгульям! А ещё он ханжа и будет обзывать тебя по-всякому, так что мне, вероятно, придётся с ним драться. Так говорят карты.

Саладин Чамча приехал в Индию только ради прощения. Других дел у него в родном городе не было. Однако он сам не знал, чего хочет на самом деле — простить или быть прощённым.

* * *

Мистер Чангез Чамчавала вёл довольно странный образ жизни. Пять дней в неделю он проводил со своей женой Насрин Второй в большом доме, прозванном Красным Фортом, на Пали-хилл, излюбленном районе кинозвёзд, а на уик-энд один возвращался в старый дом на Бузотёрке, чтобы провести несколько дней в прошлом со своей женой Насрин Первой. Более того, поговаривали, будто вторая жена отказывается переступить порог старого дома.

— Или ей не позволяют, — предположила Зини, сидя в "мерседесе" с чёрными окнами, который Чангез послал за своим сыном.

Когда Саладин уселся с ней рядом на заднее сидение, Зинат Вакил одобрительно присвистнула:

— С ума сойти!

Бизнес Чамчавалы, вся его навозная империя в данный момент подвергалась проверке со стороны правительства на предмет укрывательства доходов, но Зинат это не интересовало.

— Теперь, — сказала она, — я разберусь, кто ты такой.

Появилась Бузотёрка. Саладин чувствовал, как прошлое наплывает на него, подобно волне, в которую он погружается с головой и которая наполняет его лёгкие призрачной горечью. *Сегодня я не похож на себя*, подумал он. Сердце трепещет. Жизнь портит существование. Мы — это не мы. Мы все *другие*.

Теперь железные ворота открываются автоматически из дома и прячут позади себя обваливающуюся триумфальную арку. Лёгкий скрежет пригласил Саладина войти в прошлое. Когда он увидел ореховое дерево, в котором , по словам отца, была скрыта его души, руки у него заметно задрожали, однако он попытался скрыть волнение за объективной информацией.

— В Кашмире, — сказал он Зинат, — дерево, которое сажают в день рождения ребёнка, своего рода финансовое вложение. Ребёнок подрастает, и взрослый орех всё равно что страховой полис. Его можно продать и таким образом заплатить за свадьбу или за что-нибудь другое. Взрослый человек рубит под корень своё детство, чтобы обеспечить себя. Никакой чувствительности. А ты что думаешь?

Они остановились у входа. Зини словно язык проглотила, когда они вышли из машины, поднялись по шести ступенькам к входной двери, где их приветствовал сдержанный старик в белой ливрее с бронзовыми пуговицами. Чамча сразу узнал седую шевелюру, представив её чёрной,

и вспомнил Валлабха, который в Старые Дни командовал всеми в качестве мажордома.

— Господи, Валлабхай, — выдавил он из себя и обнял старика.

Слуга с усилием улыбнулся.

— Я так состарился, баба, что думал, вы меня не узнаете

Он повёл их по коридорам с тяжёлыми хрустальными люстрами, и Саладин понял, что неизменность тоже бывает чрезмерной и нарочитой. Чангез-сахиб поклялся всё сохранить, как было. Поэтому после смерти матери не перевесили ни одну картину, не передвинули ни одно кресло, даже быки красного стекла и фарфоровые балерины, привезённые из Дрездена, стояли как раньше, те же журналы лежали на столиках и в корзинах было полно смятых бумаг, словно дом умер и его забальзамировали.

— Мумия, — сказала Зини то, о чём все молчали. — Господи, не дом, а приведение, разве не так?

В эту минуту Валлабх открыл двойную дверь и впустил их в голубую гостиную, где Саладин Чамча увидел призрак своей матери.

Он громко закричал, и Зини в страхе повернулась к нему.

— Там! — он показывал пальцем в дальний угол. — Смотри. Сари со статьями из газет. Большие заголовки. Она надела его в тот самый день, когда она... она...

Тут Валлабх замахал руками, как большая птица, у которой нет сил взлететь, послушайте, баба, разве вы не узнали Кастурбу, мою жену, это всего лишь моя жена. *Моя няня Кастурба, с которой я играл в камешки, пока не вырос и не отправился один в пещеру к мужчине, носившему очки в оправе из слоновой кости.*

— Пожалуйста, баба, не сердитесь. Когда бегума умерла, Чангез-сахиб отдал моей жене кое-что из её одежды. Вы не против? Ваша мать была очень щедрой женщиной. Её руки никогда не пустели для других.

Вновь обретя равновесия, Чамча чувствовал себя по-дурацки.

— Ради Бога, Валлабх, — прошептал он. — Ради Бога. Конечно же, я не возражаю.

Валлабх вновь выпрямился и воспользовался правом старого слуги попенять молодому господину:

— Прошу прощения, баба, но вы не должны сердиться.

— Смотри, он даже вспотел, — по-сценически громко, прошептала Зини. — Кажется, он здорово испугался.

Тут подошла Кастурба, и хотя их встреча с Чамчой была сердечной, в воздухе витала недоговоренность. Валлабх ушёл за пивом, Кастурба тоже, извинившись, удалилась, и Зини сказала:

— Странно. Она ходит тут, словно всё принадлежит ей. Так она себя держит. А старик испугался. Держу пари, у этих двоих что-то на уме.

Чамча старался сохранить благоразумие.

— Они здесь почти всё время одни, возможно, спят в хозяйской постели и едят с хороших тарелок, ну, и привыкли, что это их дом.

Сам он в это время думал о том, до чего же няня Кастурба в стареньком сари похожа на его мать.

— Слишком долго тебя не было, — услышал он за спиной голос отца, — вот и не можешь отличить живую няньку от мёртвой матери.

Саладин повернулся. На него печально смотрел отец, высохший, как старая яблоня, однако всё ещё носивший дорогие итальянские костюмы, купленные в добрые старые времена. Лишившись вздутых мышц на предплечьях и на животе, он ёрзал в них, словно искал что-то, чего не в силах был найти. Он стоял в дверях и смотрел на сына. Годы искривили ему нос и губы, его лицо уже почти не напоминало о прежнем великане-людоеде. Только сейчас Чамча начал понимать, что его отец уже не в состоянии кого-то напугать, что его дух сломлен и он просто старый чудак, у которого впереди нет ничего, кроме могилы. Зато Зини с неудовольствием отметила короткие не по моде волосы Чангеза Чамчавалы и начищенные ботинки из Оксфорда, следовательно люди врали о его одиннадцатидюймовых ногтях. Потом вернулась Кастурба с сигаретой в зубах и, миновав всех троих — *отца сына любовницу* — уселась на честерфильдскую софу, обитую велюром, с мягкими подушками за спиной, со вкусом расположив своё тело, по крайней мере, не хуже любой кинозвезды, хотя ей было уже много лет.

После того, как Кастурба завершила свой умопомрачительный выход, Чангез скакнул мимо сына и устроился рядом с бывшей нянькой. У Зини Вакил глаза засверкали в предвидении скандала, и она прошипела Чамче:

— Закрой рот, дорогой. Это неприлично.

В дверях вновь появился Валлабх с подносом, уставленным бутылками, и без всякого выражения посмотрел на своего господина, обнявшего его покорную жену.

Сыну приходится быть ханжой, когда он в своём родителе, в творце узнаёт сатану. Чамча сам не поверил, услыхав свой голос:

— Как поживает моя мачеха, дорогой отец? Она здорова?

Старик повернулся к Зини.

— С тобой, надеюсь, он не такой. Иначе плохо тебе живётся. — После этого он обратился к сыну. — Тебя интересует моя жена? А вот

ты её совершенно не интересуешь. Она не хочет тебя видеть. Почему она должна? Ты ей не сын. Впрочем, теперь, может быть, мне тоже...

Я приехал не для того, чтобы драться с ним. Послушай, старый козёл. Я не должен драться. Но это... Это невыносимо.

— В доме моей матери! — проигрывая сражение с самим собой, заорал, как в плохой мелодраме, Саладин. — Все думают, будто прогнил твой бизнес, а на самом деле прогнила твоя душа. Посмотри, что ты с ними сделал. Посмотри на Валлабха и Кастурбу. Всё твои деньги! Сколько ты потратил? Сколько заплатил за то, чтобы отравить им жизнь? Да ты просто болен.

Он стоял перед отцом и полыхал справедливым гневом.

Неожиданно подал голос носильщик Валлабх:

— Баба, я вас очень уважаю и прошу прощения, но вы ведь ничего не знаете. Вы уехали, а теперь явились, чтобы судить нас? — Саладину показалось, что пол уходит у него из-под ног. Он заглянул в ад. — Вы правы, он нам платит, — продолжал Валлабх. — За нашу работу и за то, что вы видите. За это тоже.

Чангез Чамчавала крепко сжал не сопротивлявшиеся плечи бывшей няньки.

— Сколько? — крикнул Чамча. — Валлабх, на какой цифре вы сошлись? За сколько ты продаёшь свою жену?

— Ну и дурак, — презрительно проговорила Кастурба. — А ещё учился в Англии. В голове-то ничего нет. Много говоришь лишнего *в доме своей матери.* А, может быть, ты её не любил? Мы-то любили её. Мы трое. И с нами её дух не умирает.

— Можешь назвать это молением, — тихо произнёс Валлабх. — Мы поклоняемся ей.

— Ты, — так же тихо, как его слуга, проговорил Чангез Чамчавала, — ни во что не веря, пришёл в её храм. Ну и наглость, мистер.

Напоследок его предала Зинат Вакил.

— Хватит, Салад, — сказала она, садясь на ручку софы рядом со стариком. — Что ты на них взъелся? Ты, малыш, тоже не ангел, а эти люди ничего плохого не делают.

Ублюдок. Старый ублюдок. Он хотел выбить меня из колеи, и это ему удалось. Не буду ничего говорить, зачем, только не так, это унизительно.

— Бумажник с фунтами, — сказал Саладин Чамча, — и жаренный цыплёнок.

* * *

В чём сын обвинял отца? Во всём. В том, что он следил за ним в детстве. В том, что украл его радугу. В том, что позволил ему уехать. В том, что позволил стать тем, кем он мог бы не стать. В том, как он делал из него взрослого мужчину. В том, что-я-скажу-своим-друзьям. В непоправимом разрыве и обидном прощении. В поклонении Аллаху вместе с новой женой и греховном культе умершей. Но, более всего, в колдовском лампизме и открытом сезамизме. Всё ему доставалось легко. Обаяние, женщины, богатство, власть, положение в обществе. Потри лампу, подуй, джин тут как тут, желай, господин, всё будет исполнено. Отец, который обещал, а потом отказал в волшебной лампе.

* * *

Чангез, Зини, Валлабх, Кастурба ничего не сказали и даже не пошевелились, пока Саладин Чамча не умолк в растерянности.

— Сколько горечи, а ведь прошло много лет, — проговорил в наступившей тишине Чангез. — Жаль. Четверти века как не бывало, а сын всё ещё не может смириться с грешками отца. О, мой сын! Хватит таскать меня с собой, словно попугая на плече. Да и что я такое? Со мной кончено. Я для тебя не Старик из Моря. Посмотри правде в глаза, мистер. Больше я ничего не могу тебе объяснить.

В окно Саладин увидел сорокалетний орех.

— Сруби его, — сказал он отцу. — Сруби его и продай, а деньги пришли мне.

Чамчавала встал и вытянул вперёд правую руку. Зини тоже встала и приняла её, как танцовщица принимает цветы. Тотчас Валлабх и Кастурба вновь превратились в слуг, словно часы беззвучно пробили время тыквы.

— Твоя книга, — сказал он Зини. — Я хочу тебе кое-что показать.

Они вышли из комнаты. Бессильный Саладин, всего на минуту сумевший встрепенуться, попытался остановить их

— Малыш, — весело проговорила Зини, оборачиваясь к нему, — брось это, пора тебе стать большим.

Коллекция Чамчавалы на Бузотёрке включала множество сказочных тканых изображений Хамзы-намэ из знаменитой серии XVI века,

повествовавшей о жизни великого героя Хамзы, дяди Мухаммада, чью печень съела женщина по имени Хинда из Мекки, когда он лежал мёртвый на поле битвы у подножия горы Ухуд.

— Я люблю эти картины, — старый Чамчавала признался Зини, — потому что на них герою дано право на поражение. Смотри, как часто ему приходится выпутываться из неприятностей. Они также наилучшим образом подтверждали тезис Зини Вакил об эклектической природе индийской изобразительной традиции. Со всей Индии собрали моголы художников, чтобы, подавив индивидуальность каждого, создать многоголового Художника со множеством кистей, который, иначе говоря, стал искусством Индии. Одной рукой он укладывал мозаичные полы, другой лепил фигуры, третьей разрисовывал похожие на китайские облачные небеса. На обратной стороне изображения Хамзы-намэ можно было прочитать соответствующую историю, но вообще-то, они все производили впечатление раскадрованной ленты. Персидская миниатюра соединилась со стилями Канди и Keралы, а индийская и мусульманская философии создавали синтез, характерный для поздней эпохи моголов.

Великан попал в яму, и его смертные мучители направляли стрелы прямо ему в лоб. Воин, разрубленный пополам от макушки до пупка, падал, всё ещё сжимая в руке меч. Повсюду кровь.

Саладин Чамча взял себя в руки.

— Дикарство, — громко сказал он голосом англичанина. — Дикарская любовь к боли.

Чангез Чамчавала проигнорировал слова сына. Всё его внимание было сосредоточено на Зинат Вакил, которая прямо смотрела ему в глаза.

— Нами правят филистеры, юная леди. Я ведь хотел подарить коллекцию, только попросил содержать её в порядке, построить для неё помещение. Сами видите, коллекция не в лучшем состоянии. Никакого ответа. А из Америки я каждый месяц получаю разные предложения. Очень выгодные! Вы не поверите. но я не продаю. Моя дорогая, наше наследие Соединённые Штаты бессчётно вывозят отсюда. Картины Рави Вармы, бронзу Чандалы, решётки Джейсалмера. Мы сами себя продаём, разве не так? Они бросают бумажники на землю, а мы становимся на колени, чтобы поднять их. Наши быки кончат где-нибудь на фермах в Техасе. Сегодня, как вы знаете, Индия — свободная страна. — Он замолчал, но Зини ждала продолжения. — Когда-нибудь я тоже буду брать доллары. Не ради финансовой устойчивости. Из удовольствия ощущать себя шлюхой. Никем. Меньше, чем никем. — Вот, наконец-то, настоящая буря, слова, прячущиеся за словами, *меньше, чем никем*. — Когда я умру, — продолжал Чангез Чамчавала, обращаясь к Зини, — что от меня

останется? Пара стоптанных ботинок? Вот судьба, которую он мне уготовил. Этот актёр. Этот притворщик. Он сделался подражателем несуществующих людей. Никого не останется после меня. Мне некому передать моё дело. Это месть. Он украл у меня моё потомство, — Чангез улыбнулся и, погладив её по руке, отпустил к сыну. — Я ей сказал, — заявил он Саладину, — что ты всё ещё несёшь своих цыплят, купленных на вынос. Я выразил ей свою боль. Теперь пусть судит она. Так мы договорились.

Зинат Вакил подошла к старику, одетому в костюм не по размеру, взяла его лицо в ладони и поцеловала в губы.

* * *

После того, как Зинат предала его в доме его отца, Саладин Чамча не захотел больше видеть её и даже отвечать на письма, которые она оставляла в отеле. "Миллионершу" уже почти отыграли. Пора было возвращаться домой. После последнего спектакля и банкета Чамча отправился в постель. В лифте юная, наверно, только что поженившаяся пара слушала музыку в наушниках. Молодой человек шёпотом спросил её:

— Скажи, я иногда кажусь тебе ещё чужим?

Девушка радостно заулыбалась и покачала головой, *не слышу*, сняла наушники.

Он строго повторил:

— Я не кажусь тебе больше чужим?

Она с ясной улыбкой на лице прижалась щекой к его плечу.

— Ну, иногда, — сказал она и вновь надела наушники.

Он последовал её примеру, совершенно удовлетворившись ответом, и они ритмично задвигались, по-видимому, в такт музыке. Чамча вышел на своём этаже. Зини сидела на полу, прислонившись спиной к его двери.

* * *

Войдя в номер, она щедро налила себе виски с содовой.

— Ведёшь себя, как ребёнок, — сказала она. — Стыдно.

В тот день пришла посылка от отца. Развернув её, он обнаружил палочку и много банкнот, не рупий, фунтов стерлингов: прах, так сказать, орехового дерева. Все чувства в нём смешались, но так как Зини оказалась под рукой, то своё раздражение он излил на неё.

— Думаешь, я тебя люблю? - со злостью спросил он. — Думаешь, я останусь с тобой? У меня есть жена.

— Я хотела, чтоб ты остался со мной, не для себя, — сказала Зинат. — Это тебе нужно.

Несколькими днями раньше он посмотрел индийскую театральную версию сартровской истории о стыде. В оригинале муж подозревает жену в неверности и расставляет ей ловушку. Делает вид, будто собирается куда-то по делам, однако возвращается через несколько часов. Он встаёт на колени, чтобы заглянуть в замочную скважину, и вдруг чувствует, будто сзади кто-то стоит. Он поворачивается, не поднимаясь с колен, а перед ним его жена, которая смотрит на него с отвращением. В индийской версии муж, стоящий на коленях, ничего не чувствует, и жена пугает его своим появлением, после чего они шумят и ругаются, пока она не начинает плакать. Тогда он обнимает её, и всё заканчивается примирением.

— Ты сказала, что мне должно быть стыдно, — с горечью проговорил Чамча. — Это ты, у которой вовсе нет стыда. Национальная черта, насколько я начинаю понимать. У индусов, на мой взгляд, нет идеи нравственного очищения, поэтому не бывает настоящих трагедий, и они не понимают, что такое стыд.

Зинат Вакил пила виски.

— Ладно, можешь больше ничего не говорить. — Она подняла руки. — Сдаюсь. Я ухожу, мистер Саладин Чамча. Мне казалось, что вы ещё живы, дышите, но я ошиблась. Похоже, вы всё время были мертвы.

И прежде, чем уйти с залитыми молоком глазами, она всё-таки не удержалась.

— Не подпускайте к себе людей слишком близко, мистер Саладин. А то они невзначай обидятся и ударят ножом точно в сердце.

* * *

Оставаться дольше было незачем. Самолёт поднялся в небо и сделал вираж над городом. Где-то внизу его отец одевал служанку как свою покойную жену. В центре города машины двигались по новым маршрутам. Политики старались сделать карьеру, отправляясь пешком

в паломничество через всю страну. Плакаты гласили: *Совет политикам. Только один шаг: паломничество в ад.* Иногда, правда, писали: *на Ассам.* Актёры тоже оказались замешанными в политические игры: М.Г.Р., Н.Т.Рама Рао, Баччан. Дурга Кхоте выразил сожаление что ассоциация стала "красной линией фронта". Саладин Чамча, рейс 420, закрыл глаза и с огромным облегчением ощутил щекотку и похрустывание в горле, что означало возвращение к надёжному английскому "я".

Первая неприятность, случившаяся с Саладином Чамчой в полёте, состояла в том, что он узнал среди пассажиров женщину из своих снов.

- 4 -

Женщина его снов была меньше ростом и не такая стройная, как реальная, но едва Чамча увидел её, спокойно прохаживавшуюся по проходу в "Бустане", он сразу вспомнил ночной кошмар, когда после ухода Зинат Вакил впал в беспокойный сон и ему явилось предостережение, в котором был заметен канадский акцент, придававший ему глубину и мелодичность далёкого океана. Женщина из сна, навьюченная взрывчаткой, больше походила на бомбу, чем на бомбистку. Она шла по проходу с безмятежно спящим ребёнком, столь искусно запелёнутым и так крепко прижатым к груди, что Чамча видел лишь несколько волосинок на головке. Ещё не очнувшись от страшного сна, он решил, что ребёнок, на самом деле, — связка динамитных шашек или ещё что-то в этом роде, и ему стоило немалых усилий подавить рвавшийся из горла крик. Во всём этом было что-то от мистического бреда, пережитого им на родине. Ну нет, он нормальный человек в наглухо застёгнутом костюме, летящий в Лондон и довольный своей размеренной жизнью. Он — гражданин реального мира.

Чамча летел один, отделившись от других актёров труппы, которые в своих дурацких спортивных рубашках сидели кто где в экономическом классе, вытягивали шеи на манер народных танцовщиков, и, не понимая, как глупо они выглядят в бенаресских сари, напиваясь дармовым шампанским, и докучали презрительно улыбавшимся стюардессам, тоже выросшим в Индии и потому ни на мгновение не обманутым их дешёвым актёрством, короче говоря, они вели себя с трагической непристойностью.

Женщина с ребёнком глядела будто сквозь бледные лица актёров, превращая их в кольца дыма, полупризрачное марево, духов. Такой

человек, как Чамча, унижение англичанами некоей английскости воспринимал с особой болезненностью, поэтому он вернулся к своей газете, в которой говорилось о демонстрации бомбейских железнодорожников, разогнанной полицейскими с дубинками. Репортёру тоже сломали руку, а его камеру разбили. Полиция сделала "заявление": *Ни один журналист и ни один прохожий не пострадали от преднамеренных действий полиции.* Чамча задремал. Город забытых людей, поваленных деревьев и вечных мук покинул его мысли. Когда же он немного позднее вновь открыл глаза, его ждало очередное потрясение. В туалет шёл мужчина. Он был с бородой и в очках в дешёвой оправе, но Чамча всё равно узнал его: в экономическом классе инкогнито летела исчезнувшая суперзвезда, живая легенда, Джибриил Фаришта собственной персоной.

— Хорошо поспали?

Чамча понял, что вопрос адресован ему и от созерцания великого актёра обратился к созерцанию не менее поразительного типа, сидевшего рядом с ним, американца в бейсбольной шапочке, в очках в металлической оправе и в спортивной рубашке неоново-зелёного цвета, на которой сплеталась светящимися золотистыми цветами парочка китайских драконов. Чамча постарался сделать вид, будто никого не заметил, однако из этого ничего не вышло.

— Юджин Дамсдей. К вашим услугам, — произнёс мужчина с драконами и протянул Чамче большую красную руку. — К вашим услугам. А также всего христианского мира.

Полусонный Чамча покачал головой.

— Вы военный?

— Ха-ха! Вы правы, сэр, можно сказать и так. Скромный солдат, сэр, всемогущей армии. — Ах, *всемогущей*, что же вы сразу не сказали? — Я учёный, сэр, и моя миссия, да, моя миссия, я имел счастье посетить ваш великий народ, чтобы сразиться с самой пагубной чертовщиной, которая когда-либо брала за яйца человечество.

— Я вас не понимаю.

Дамсдей понизил голос.

— Я говорю о старой обезьяне, сэр. О Дарвине. Об эволюционной ереси мистера Чарльза Дарвина. — По его тону было ясно, что имя ненавистного, отринутого Богом Дарвина было таким же отвратительным, как имя любого хвостатого врага людей, например, Вельзевула, Асмодея или самого Люцифера. — Я предостерегал ваших друзей, — доверительно сообщил Дамсдей, — против мистера Дарвина и его трудов с помощью моих собственных пятидесяти семи слайдов. Недавно, сэр, я выступал в День всеобщего взаимопонимания на банкете в клубе "Ротари" в Керале. Я говорил о моей стране и о молодёжи моей страны.

Они все потеряны, сэр. Молодые люди Америки. Я видел, как они в отчаянии обращаются к наркотикам, даже, скажу вам откровенно, к беспорядочным сексуальным отношениям. Я говорил это тогда и теперь говорю вам. Если бы я думал, будто мой прапрадедушка был шимпанзе, я бы тоже, наверно, впал в отчаяние.

Джибриил Фаришта сидел в том же ряду, но с другой стороны и смотрел в окно. В самолёте начали показывать фильмы, и стало почти темно. Женщина всё ещё ходила с ребёнком по проходу то в одну сторону, то в другую сторону, наверное, успокаивая его.

— Почему так случилось? — спросил Чамча, понимая, что от него требуется произнести нечто.

Сосед помолчал.

— Звуковая система, — произнёс он наконец. — Я так думаю. Не представляю, как бы все эти люди могли разговаривать друг с другом, если бы я исчерпал свои возможности.

Чамча растерялся. Он понимал, что в стране, где все во что-нибудь искренне верят, заявление, будто наука — враг религии, должно найти понимание, однако безразличие членов клуба потрясло его. Дамсдей продолжал говорить в полумраке, рассказывая голосом невинного бычка направленные против него же самого истории, ничем не выдавая, что понимает их смысл. Закончил он великолепным портовым городом Кочин, куда Васко да Гама приходил за специями и где положил начало двусмысленной истории востока-запада при помощи мальчишки, который только и знает, что псст и эй-мистер-окей.

— Эй, мистер, да! Хочешь гашиш, сахиб? Эй, мистерамерика! Эй, дядясэм, хочешь опиума, самого лучшего? Окей, хочешь кокаина?

Саладин не сдержался и хихикнул. Он воспринял всё это как месть Дарвину. Если Дамсдей считал несчастного викторианца Чарльза виновником американских бед, как же здорово, что сам он на другой стороне глобуса и представляет народ, против которого долго и неустанно сражался. Дамсдей смерил его укоризненным взглядом. Тяжело быть американцем за границей и не понимать, почему тебя так не любят.

После нечаянного смешка, сорвавшегося с губ Саладина, Дамсдей погрузился в обиженное молчание, а Чамча в свои мысли. Нужно ли рассматривать фильм в самолёте как зло, как случайную мутацию формы, которую бы выбросили при естественном отборе, или это кино будущего? Будущее эксцентричных фильмов с такими звёздами, как Шелли Лонг и Чеви Чейз, было слишком ужасным, чтобы проливать над ним слёзы. Видение ада... Чамча вновь стал засыпать, когда фильм закончился и зажглись огни. Киноиллюзия уступила место теленовостям, когда четверо вооружённых террористов выбежали в проход.

* * *

Пассажиров продержали в самолёте сто и одиннадцать дней на блестящем шоссе, по обе стороны которого простирались песчаные барханы, потому что террористы, трое мужчин и одна женщина, заставив пилота посадить машину, представления не имели, что с ними делать. Они сели не в международном аэропорту, а на какой-то весьма странной дороге, проложенной местным шейхом к его любимому оазису, потому что оазис облюбовали одинокие молодые мужчины и женщины, кружившие по пустыне и в окнах своих автомобилей высматривавшие друг друга... Когда четыреста двадцать пассажиров приземлились, вокруг было полно бронемашин, лимузинов с развевающимися флажками. Пока дипломаты ломали головы над судьбой самолёта, штурмовать его или не штурмовать, пока они решали — сжалиться или стоять насмерть за счёт чужих жизней, на землю опустилась великая тишина, а вскоре начались миражи.

Вначале события развивались с бешенной скоростью, ибо квартет террористов разругался не на шутку, заполучив в руки оружие и власть. Это были самые опасные минуты, думал Чамча под плач детей, чувствуя проникающий в щели страх, и не сомневаясь, что они все легко могут уйти на запад. Потом трое мужчин и одна женщина взяли себя в руки. Они были высокие, без масок, красивые и тоже актёры, ставшие звёздами, падающими или рождающимися, но со сценическими именами. Дара Сингх, Бута Сингх, Ман Сингх. Женщину звали Тавлин. Во сне у неё не было имени, однако, подобно ей, Тавлин говорила с канадским акцентом, смягчая и подчёркивая "о". Когда самолёт приземлился в оазисе Аль-Замзам, пассажиры, которые не сводили глаз со своих стражей, как следящая за коброй мангуста, поняли, что трое красивых мужчин выставляли себя на показ и по-любительски наслаждались смертельным риском, слишком часто показываясь у открытых дверей и подставляя себя под пули снайперов, наверняка прятавшихся за пальмами. Женщина вела себя умнее и едва сдерживалась, чтобы не одёрнуть *товарищей*. Казалось, она была совершенно безразлична к своей красоте, и это делало её самой опасной из четверых. Саладину Чамче пришло на ум, что молодые люди слишком брезгливы и слишком эгоистичны, чтобы пачкаться в крови. Он не сводил с неё глаз. Им будет легко переступить через себя и убить, потому что они всего-навсего мечтают покрасоваться по телевизору. А Тавлин работает. Он не сводил с неё глаз. Мужчины не *понимают*, думал он. Они хотят быть похожими на террористов, которых видели в кино или по телевизору. Они, реальные, подражают своим *ге-*

роям и похожи на червей, заглатывающих собственные хвосты. А она, женщина, она всё понимает... Пока Дара, Бута, Ман Сингхи наслаждались собой и распускали перья, она оставалась спокойной, её глаза словно смотрели внутрь, и пассажиры боялись пошевелиться от страха перед ней.

Чего они хотели? Ничего нового. Независимости для своей родины, религиозной свободы, освобождения политических заключённых, правосудия, денег, возможности выбрать для себя страну назначения. Многие пассажиры отнеслись к ним с симпатией, хотя им ежеминутно грозила смерть. Живя в двадцатом веке, не так уж трудно увидеть себя в тех, кто ещё несчастнее, но не хочет с этим мириться.

После приземления террористы освободили всех, кроме пятидесяти пассажиров, решив, что на большее количество их не хватит. Освобождены были женщины, дети и сикхи. Из актёрской компании остался только Саладин Чамча, и он с удивлением обнаружил, что не возражает против слепой логики событий и не расстраивается, а даже наоборот, рад видеть удаляющиеся спины своих несносных коллег, скатертью дорога, подумал он.

Широкопрофильный учёный Юджин Дамсдей оказался не в силах вынести то, что террористы не собираются отпускать его на свободу. Он встал во весь рост, качаясь, как небоскрёб в бурю, и принялся истерически орать. Из уголка рта у него вытекла слюна, и он торопливо слизал её языком. *Ну, держитесь, сволочи, с меня хватит, ещё как ХВАТИТ, с чего это вы взяли, что вам дозволено* и всё в таком роде. Он не замечал ничего в охватившем его наяву кошмаре, пока один из четверых, естественно, женщина не подошла к нему и не разбила ему губы прикладом. Но хуже было другое. Так как распустивший слюни Дамсдей как раз в этот момент облизывал губы, то он откусил себе кончик языка. который упал на колени Саладину, а следом за ним ему на колени упал и сам бывший его владелец. Юджин Дамсдей, лишившись языка и чувств, рухнул в объятия актёра.

Потеряв язык, Юджин Дамсдей обрёл свободу. Мастер убеждения, лишившись инструмента убеждения, преуспел в убеждении своих мучителей. Им ни к чему было заботиться о раненом, не дай Бог, с гангреной, поэтому он присоединился к тем, кто покинул самолёт. В самые первые и самые страшные часы Саладина Чамчу занимали странные вопросы. Как точно назвать оружие террористов: автоматами или пистолетами-пулемётами? Как они умудрились пронести их на борт? Куда можно получить рану и выжить при этом? Боятся ли они? Думают ли о своей смерти?.. Когда Дамсдей ушёл и он уже было настроился на одиночество, к нему подошёл мужчина и, конечно, извинившись, не возра-

жаете? О, нет! плюхнулся рядом, потому что, совершенно очевидно, не хотел оставаться один. Это был кинозвезда Джибриил.

* * *

Прошло несколько тревожных дней, и три террориста в тюрбанах начали потихоньку сходить с ума. По ночам они орали в пустыню *ублюдки, идите, берите нас* или, наоборот, *Господи, Господи, они пришлют сюда дерьмовых коммандос, мать их, американцев и англичан.* В эти минуты оставшиеся пленники закрывали глаза и молились, потому что больше всего боялись, как бы террористы не поддались слабости. А потом все успокаивались, и жизнь вновь обретала почти нормальные черты. Дважды в день машина привозила еду и питьё и оставляла коробки на шоссе. Пленники переносили их в "Бустан", а террористы не спускали с них глаз, не выходя из самолёта. Больше никаких связей с внешним миром у заложников на было. Радио молчало. Казалось, все забыли о них. Забыли, чтобы не огорчаться.

— Ублюдки, хотят сгноить нас тут, — вопил Ман Сингх, и к нему присоединялись пленники. — Убийцы! Отступники! Дерьмо!

Так как деваться от зноя и тишины было некуда, то вскоре всех стали одолевать видения. Первым проснулся на рассвете самый взвинченный из пленников, молодой человек с козлиной бородкой и коротко стриженными вьющимися волосами. Он заорал страшным голосом, что видит в дюнах скелет верхом на верблюде. Другие видели разноцветные глобусы в небе или слышали хлопанье гигантских крыльев. Три террориста впали в глубокую фаталистическую тоску, и в один прекрасный день Тавлин пришлось собрать их всех в дальнем конце самолёта, откуда до пленников некоторое время доносились гневные крики.

— Она им говорит, что они должны выставить ультиматум, — сказал Джибриил Фаришта, обращаясь к Чамче. — Кому-то из нас придётся умереть.

Мужчины вернулись без Тавлин, и к унынию в их глазах прибавился стыд.

— Всё. От их мужества ничего не осталось, — прошептал Джибриил. — Они ничего не могут. Что же задумала наша Тавлин-биби? Ноль. Конец истории.

Вот что она сделала:

Желая доказать пленникам, а заодно и своим соратникам, что никакие мысли о провале или сдаче не поколеблют её решения, она, за-

глянув на минутку в бар первого класса, явилась перед ними, словно стюардесса, желающая объяснить, как вести себя в экстренных случаях, но вместо того, чтобы надеть на себя спасательный жилет и так далее, в мгновение ока стащила с себя накидку, единственное своё одеяние, и предстала перед пленниками совершенно голой, так что они могли подробно разглядеть её арсенал: подобные лишним грудям, гранаты на плоском животе и пластиковые бомбы на бёдрах, — в точности такой, какой Чамча видел её во сне. Потом она оделась и заговорила тихим, шуршащим, как морские волны, голосом:

— Когда в мир приходит великая идея, возникают некоторые серьёзные вопросы. История вправе спросить нас: какие мы? Бескомпромиссные, решительные, сильные или обыкновенные приспособленцы, которые всё делают, как положено, всегда милы и в любой момент готовы сдаться?

Её тело и было ответом.

Дни шли. Замкнутая бурлящая атмосфера, в которой все были слишком близки, но и далеки друг от друга, пробудила в Саладине Чамче желание поспорить с женщиной. Он хотел сказать ей, что несгибаемость может стать манией и тиранством, а ещё может она стать ломкой, а если не ломкой, то, не дай Бог, человечной, и что это может быть надолго. Но он, конечно же, ничего не сказал, с каждым днём тупея всё больше. Джибриил Фаришта обнаружил в кармане переднего сидения памфлет, написанный удалившимся Дамсдеем. К этому времени Чамча уже заметил, что звезда экрана мужественно борется со сном, поэтому совсем не удивился, услышав, что он читает вслух, стараясь запомнить сочинение философа, тогда как тяжёлые веки опускаются всё ниже и он усилием воли заставляет их подняться вновь. В памфлете говорилось, что учёные заняты очередным придумыванием Бога и что однажды они уже доказали существование некоей единой силы с электромагнетизмом, гравитацией, сильными и слабыми токами, на которых стояла новая физика и которые были всего лишь отдельными аспектами, *аватарами*, скажем, ангелами, ну и что это, если не самая старая вещь на земле — некое высшее единство, контролирующее всё сущее...

— Смотрите, что пишет наш друг. Если вам надо выбирать между бестелесной силой и живым реальным Богом, то кого вы выберете? Неплохо, а? Не можете же вы молиться электрическому свету. Нет никакого смысла просить непонятные частицы подарить вам ключ от рая. — Он закрыл глаза и тотчас открыл их снова. — Чёрт подери. — пробормотал он, — чем только нас кормят?

Только первые несколько дней Чамча замечал дурной запах изо рта Джибриил, а потом все пропотевшие пассажиры самолёта стали

пахнуть не лучше. Однако невозможно было не обратить внимание на его лицо, потому что с каждым часом бодрствования его глаза всё больше краснели и будто покрывались масляной плёнкой. В конце концов он не выдержал и, положив голову на плечо Саладину, заснул на четыре дня.

Проснувшись, он обнаружил, что Чамча с помощью похожего на мышь, козлобородого Джаландри перенёс его на пустые места в середине солона. В туалете он целых одиннадцать минут не мог остановить поток мочи и вернулся с выражением ужаса в глазах. Прошли ещё две ночи, и Чамча вновь услышал, как он борется со сном. Вернее со снами.

— Десятый по высоте пик мира, — бормотал он, — Шиша Пангма, восемь тысяч тринадцать. Девятый — Аннапурна, восемь тысяч семьдесят восемь. — А то он начинал по-другому. — Первый, Джомолунгма, восемь тысяч восемьсот сорок восемь. Второй, Чогори — восемь тысяч шестьсот одиннадцать. Канченджанга — восемь тысяч пятьсот девяносто восемь. Макалу, Дхаулагири, Манаслу... Нангапарбат — восемь тысяч сто двадцать шесть метров.

— Вы считаете восьмитысячники, чтобы уснуть? — спросил Чамча.

— Они больше, чем овцы, но по количеству их гораздо меньше.

Джибриил Фаришта очумело взглянул на него и кивнул, словно что-то решив про себя.

— Чтобы не уснуть, мой друг. Чтобы не спать.

Тогда-то Саладин Чамча понял, почему Джибриил Фаришта боится уснуть. Каждому человеку нужен кто-то, с кем он мог бы поговорить на чистоту, а Джибриилу некому было излить душу после того, как он обожрался свинины. С той самой ночи его мучили сны. Он тоже присутствовал в них, но не сам по себе, а как его тёзка. И я вовсе не хочу сказать, что мы играли наши роли, Черпачок, нет, я был им, а он — мной, и я был проклятым архангелом Джибриилом, будь я проклят.

Черпачок. Джибриил Фаришта не меньше Зинат Вакил веселился, узнав имя Саладина Чамчи.

— Бхай, дружище! Мне, правда, нравится. Так и уморить можно! Значит, ты теперь английский *Чамча*. Мистер Салли Черпак. Это будет нашей маленькой тайной, нет, шуткой.

Джибриил Фаришта искренне не замечал, когда на него злились. *Черпак, Черпачок, старина Чамч*: Саладин тихо ненавидел его, но ничего не мог поделать, разве что тихо ненавидеть.

Может быть, из-за этих шуток, может быть, нет, но Саладину открытия Фаришты показались слишком патетичными, ну, что такого не-

обычного, если в снах он ангел. В снах ещё и не то может быть, ведь в сущности в них нет ничего, кроме элементарной самовлюблённости. А Джибриила пот прошибал от страха.

— Подумай, Черпачок, — стонал он. — Каждый раз, когда я засыпаю, сон начинается на том самом месте, где я проснулся. Один и тот же сон. Как будто кто-то выключает видео, пока я отлучаюсь из комнаты. Или... Как будто этот парень, который не спит, разыгрывает ночной кошмар. Свой проклятый сон со всеми нами. Здесь. Сейчас, — Чамча уставился на него. — Сумасшедшая мысль, я знаю, но ведь никому не ведомо, спят ангелы или нет, не говоря уж об их сна. Я спятил, да? Да или нет?

— Похоже на то.

— Тогда что значит вся эта чертовщина в моей башке?

* * *

Чем дольше он не спал, тем разговорчивее становился, и вскоре он уже втянул в беседу всех пленников и террористов, и даже истерзанную команду рейса 420, ещё недавно насмешливых стюардесс и блистательных лётчиков, которые сидели в уголке, словно траченные молью, и даже потеряли интерес к приключению. С возрастающим воодушевлением он вещал им о теориях перевоплощения, сравнивая сидение в оазисе Аль-Замзам со вторым периодом беременности, заявляя, что все они уже мертвы для мира и находятся в процессе регенерации. Отчего-то эта мысль развеселила его, хотя многие пленники тут же пожелали ему висеть на столбе, но он вскочил на кресло и стал объяснять им, что день освобождения станет днём их второго рождения, чем отчасти успокоил аудиторию.

— Невероятно, но правда! — воскликнул он. — Это будет наш нулевой день, и так как все мы родимся в один день, то все будем одного возраста до конца наших дней. Как называются пятьдесят малышей одной матери? Никак не могу придумать! Пятьдесятняшки, что ли? Чёрт их знает!

За термином "реинкарнация" для похолодевшего Джибриила скрывалось очень многое. Здесь и Феникс, возрождающийся из пепла, и Воскресение Христа, и переселение души умирающего Далай-Ламы в тело новорожденного младенца... Всё это смешивалось у него с аватарами Вишну, метаморфозами Юпитера, который повторил превращение Вишну в быка, и так далее, включая, конечно же, жизненный путь чело-

века, насчитывающий определённое количество циклов, то есть и в качестве таракана, и в качестве царя, по направлению к сверкающему невозвратному концу. *Чтобы родиться вновь, сначала ты умри.* Чамча решил не спорить с Джибриилом, хотя в большинстве примеров, которыми он уснастил свой монолог, и речи не было о смерти: новая плоть не чуждалась старых ворот. Джибриил же словно летел, широко размахивая руками, как крыльями.

— Слушайте меня, старые умрут, или на земле не будет больше молодых.

Иногда его тирады заканчивались слезами. Измученный обессиленный Фаришта, плача, укладывался головой на плечо Чамче, а Саладин — долгая несвобода меняет взаимоотношения пленников — гладил его по лицу и целовал в макушку, повторяя *ничего, ничего, ничего.* Но бывали случаи, когда раздражение брало верх в Саладине, и стоило Фариште в седьмой раз рассказать анекдот о старом Грамши, он в отчаянии заорал, пусть это будет с ним самим, с болтуном, пусть его ночной ангел попробует пробиться в его шкуру, когда он будет умирать.

* * *

— Хочешь скажу тебе такое, во что ты ни за что не поверишь? — Это случилось через сто и один день пленения, когда Фариште захотелось пооткровенничать с Чамчой. — Хочешь знать, почему я тут? — Он не стал дожидаться ответа. — Из-за женщины. Да-да, мистер. Из-за единственной проклятой любви в моей проклятой жизни. И провёл-то я с ней всего три с половиной дня. Ну, разве я не сумасшедший? Quod erat demonstratum. *Что и требовалось доказать.* Черпачок ты мой милый, старина Чамч.

Но это ещё не всё.

— Как тебе объяснить? Всего три с половиной дня. А, может быть, это самое лучшее, что было и будет в моей жизни? Как знать? Но, клянусь, когда я её целовал, искры, мать вашу, летели. Хочешь, верь, хочешь, не верь. Она сказала, будто статическое электричество скопилось в ковре, но мне и раньше приходилось целоваться в отеле, а такого никогда не было. Знаешь, приятель, это похоже на электрический удар, я даже подскакивал от боли.

Он не находил слов, чтобы рассказать о ней, о его женщине горных льдов, и еще, чтобы рассказать, каково это, когда тебе плевать на свою жизнь и есть только она, одна-единственная женщина на свете.

— Ты не понимаешь, — отчаялся он что-либо объяснить. — Наверно, тебе не приходилось встречать женщин, из-за которых можно забыть обо всём на свете, всё бросить и взять билет на этот чёртов самолёт. Эх, приятель, она была на самой вершине Эвереста. Двадцать девять тысяч и два фута. Или двадцать девять тысяч сорок один фут. На самой вершине! Думаешь, я такой толстый и чёрный ей не подхожу?

Чем старательнее Джибриил Фаришта объяснял свою одержимость альпинисткой Аллилуей Коэн, тем упорнее Саладин призывал мысленно Памелу, но она не приходила к нему. Поначалу его навещала Зини, потом её тень, а потом совсем никто. Страсть Джибриила доводила Саладина до бешенства, но Фаришта ничего не замечал, хлопал его по спине, *веселее гляди, Черпачок, теперь уже недолго.*

* * *

На сто и десятый день Тавлин подошла к маленькому Джаландри и поманила его пальчиком. Наше терпение исчерпано, объявила она, мы послали несколько ультиматумов и не получили ни одного ответа, значит, пришло время первого жертвоприношения. Она так и сказала. Жертвоприношения. Глядя ему прямо в глаза, она произнесла смертный приговор.

— Ты первый. Отступник, предатель, ублюдок.

Она приказала команде приготовиться, ибо не желала рисковать самолётом, и автоматом подтолкнула Джаланди к открытой передней двери, не слушая его воплей о пощаде.

— У неё острый глаз, — сказал Джибриил. — Он постриг волосы.

Джаландри стал первой жертвой оттого, что снял тюрбан и постриг волосы. Он был в её глазах предателем, перебежчиком, стриженым господином. Всё. Приговор обжалованию не подлежит.

Джаландри упал на колени, на штанах у него появились мокрые пятна, и она за волосы потащила его к двери. Никто не двигался. Дара Бута Ман Сингхи глядели в другую сторону. Он стоял на коленях, спиной к открытой двери, когда она приказала ему повернуться и выстрелила ему в затылок. После того, как он упал на шоссе, Тавлин закрыла дверь.

Самый юный и нетерпеливый из четвёрки Ман Сингх заорал на неё:

— Куда нам теперь? Теперь они пришлют коммандос, куда бы мы ни полетели. Мы пропали!

— Мученичество — редкая привилегия, — тихо сказала она. — Мы будем как звёзды. Как солнце.

* * *

Потом вместо песка был снег. Зима в Европе, внизу всё белым-бело, укрыто слепящим ковром. Альпы, Франция, английское побережье, блёклые скалы поднимаются над белыми лугами. Мистер Саладин Чамча заранее надел шляпу. Мир вновь вспомнил о рейсе АИ-420, Боинг 747 "Бустан". Его засекли радаром, и заговорило радио. Просите разрешение сесть? Никакого разрешения никто не просил. "Бустан" кружил над Британским побережьем как гигантская чайка. Может быть, альбатрос. Приборы показывали, что горючее на исходе.

Когда разгорелась драка, пассажиры очень удивились, потому что на сей раз не было никаких злых перешёптываний между террористами-мужчинами и Тавлин ни о *горючем*, ни о том, *какого чёрта ты тут делаешь*, они даже не разговаривали друг с другом, словно у них уже не осталось надежды, как вдруг Ман Сингх попёр на неё. Пленники наблюдали смертельную битву, не имея сил вмешаться, потому что всех охватило странное отчуждение от реальности, все успели поверить в волю случая и стать фаталистами. Они упали на пол, и её нож впился ему в живот. На этом драка закончилась, и её скоротечность как бы подчеркнула неважность этого события в жизни террористов и пленников. В мгновение ока Тавлин была на ногах, и все как будто очнулись от сна, наконец-то поверив, что она не шутит и пойдёт до конца, чего бы это ей ни стоило, и наконец-то вспомнив о той проволочке, которая соединяла взрыватели от гранат, висевших у неё на теле, как смертельные груди. Бута и Дара бросились к ней, но она успела дёрнуть за проволоку и всё смешалось.

Нет, это была не смерть. Это было рождение.

перевод с английского

ОТ РЕДАКЦИИ

Увы, продолжение не последует. Не только потому, что мы не даём публикаций с продолжением. Не места нам не хватило — денег! Будь у нас деньги, мы издали бы номер в 600-700 страниц, чтобы напечатать "Сатанинские стихи" в одном номере. Увы, все наши обращения к российским издателям, к Русскому ПЕН-центру помочь издать роман не были услышаны.

Почему же вестник всё-таки публикует Салмана Рущди? По двум причинам. Хочется, чтобы наши читатели всё-таки получили представление об этой книге, хотя впервые отрывок из романа в русском переводе напечатал журнал "Страна и мир" (1990, № 4), потом еженедельник "Новое время" (1993, № 19). "НОЙ" просто продолжил дело, начатое Кронидом Любарским и его коллегами, которым действительно обидно за державу: молчаливо смирившись с тем, что огромная страна может **не** издать роман С.Рущди, мы заключили позорный сговор с фанатизмом, мракобесием, средневековьем. А во-вторых... несколько человек всё-таки пожертвовали редакции деньги — пусть их едва хватило, чтобы подготовить эту публикацию, но всё равно спасибо им.

Вот и вся история. Ей не хватает только счастливого конца.

Вардван Варжапетян

15 июня 1996



Семён ГРИНБЕРГ

ИМЕНА, МЕСТНОСТИ

ЕВРОПА

В то время, как она менялась на глазах,
И Польша нежная бывала без короны,
И цезари, тем паче Меттерних,
Не посягали на живые берега,
Остались хороши окрестности Вероны,
Бискайи, Генуи и Курская дуга,
Случилось, что, пока текла эта вода,
Сквозь тесный континент, туда в Сморгонь и Краков
Или ещё восточней города,
Где обитал нетронутый русак,
Прошла вся троица — Абрам, Исак и Яков.
И самый среди них загадочный — Исак.

* * *

Ицхак, которого зовут немножко по другому,
Был самый тихий в Книге человек,
В то время как его болтливый внук,
Красавец, умница и патриарх колена,
А через сыновей родоначальник двух,
Известен чуть не каждому барану,
Как наш преподаватель из ульпана
Иосиф Яковлевич, кандидат наук.

Ицхака тоже знают, но не все.
Шныряет Ривка в юбочке-плиссе,
Он смотрит в книжку с золотым обрезом,
А дети ходят задом наперёд,
Всё образуется, супуруга разберёт,
Но главное, чтоб каждый был обрезан.

* * *

На том и дальше пустырях,
Где бабы ходят и собаки,
Сидел обычно и водил рукою на бумаге
Художник Илиягу Голлербах.

Фамилию свою он не любил,
По-видимому. Сделавши работу,
То есть, когда считал, что завершил,
Внизу рисунка ставил букву "юд".
Считают, он завидовал пилотам,
Которые летят, а в ожидании полётов, пьют.

Но сам летать не мог,
И подпись на листе
Казалась точкой, и никем не замечалась,
Верней, она мерещилась везде,
И оставалось
Смотреть вокруг,
Как поступал один писатель, будучи в Сморгони,
Где ходят на лугах всё больше женщины и кони.

* * *

Писатель, так любивший жён и лошадей,
И тёзка убиенного премьера,
Почти всё время проводил среди людей,
Жизнь наблюдал, и потерял свою,
В гостеприимном опочив краю,
По ту, конечно, сторону ОВИРа.

По эту сторону случалися дела,
Имевшие восточные оттенки

И имена — Хамас и Хизбалла,
Хотя, когда английский был мандат,
И вешали и прислоняли к стенке
Любого, кто бывал довольно виноват.

ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ БАБЕЛЯ

Помедлив несколько, я обращаюсь снова
К тому, кто был Ицхак, и был кавалерист,
Расстрелян за жену известного Ежова,
Всего лишь, как шпион и сионист,
И был пытаем. Примем за основу,
Заплечных дел мастак был тоже коммунист,
Однако, и еврей. Как сказано, и на руку нечист,
Итак, один еврей пришил-таки другого.

И вот, когда и это утекло,
Увидели сквозь мутное стекло,
Что и отец не тот, и ангел не явился,
Бараны, правда, путались в кустах.
К несчастью, дело было в тех местах,
Где жили многие, но Раши не водился.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ХУДОЖНИКА

День уменьшался. Поначалу
Он этого не замечал,
Всё также грифелем качал,
Но освещение менялось,
И он увидел, или показалось,
Что тени стали как желе.
Прошёл араб на медленном осле,
И больше ничего не шевелилось.
Ещё стемнело. Солнце закатилось.
Уже почти при лунном свете,
Он положил свои листы,
И нёс в пластмассовом пакете,
И понемногу выходил из темноты.
Потом в автобусе снимает
Ботинки, полные песка,
И всякий это замечает,
И крутит пальцем у виска.

* * *

Я собирал рисунки Илиягу,
Используя с обратной стороны,
Как черновик, как писчую бумагу,
Словами обходя то лужицу луны,
То проступающую руку или ногу,
И заполнял изнанку понемногу
Столбцами одинаковой длины.

А там, на стороне, где он нарисовал,
Текст выглядел зеркальным отраженьем,
И он с трудом, но всё же разбирал,
Что кто-то жил на дальнем берегу,
И дальше в тех же пошлых выраженьях,
Которых и упомнить не могу.

ЕРУШАЛАИМ

Кружи, кружи по этим тупичкам,
По улочкам, по этим перекрёсткам,
По этим камушкам, по всем травинкам жёстким,
По плиткам, городским половичкам.

Заместо мира здесь предсказывают дождь,
Сырые шляпы, влажные рубахи.
Когда и тут бывал национальный вождь,
Он был как плащ, как зонт над головой,
И разгонял напрасливые страхи,
Покуда был ещё совсем живой.

Теперь не так, а впрочем, все равно,
Нет, всё-таки немного изменилось,
Спроси вот этого, — он знает, что случилось?
И скажет: "Интересное кино!"

СУД ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ

У канцелярии того, который был,
Где няньки форменны с дитятею без глаза
Не слишком проявляли рвение и пыл,
А за евреем нужен глаз да глаз,
Там и расходятся Рамбан и Дерех Аза,
И мира требуют немедленно, сейчас.
Короче, где правительство пасут,
Бывал и сделавший свой человечий суд.
Иного нет уже, а тот в живых остался.
Но как сказать ему, когда его введут,
Ему, вот этому, на ту же букву "юд",
Как бы сказать ему, чтоб он не улыбался?

* * *

Весь день сегодня кто-то умирал.
На самом деле это хоронили
Главу правительства, и голос повторял
Глухие ритуальные слова.
Когда про это радио включили,
В ешиве было без чего-то два,
И тут же выключили. Рокот баритона
Мог быть и кантора, и царским, и любым.
Всего-то ничего от Бейт-Вагана
До ящика под бело-голубым.

Владимир МИКУШЕВИЧ

АРМЯНСКИЕ СОНЕТЫ

* * *

Мы не заметили, что мы блуждаем в храме,
Куда внесли цветы, нет, целые сады,
Благословив мои бессонные труды,
Преподнесённые моей прекрасной даме.

Напарник зодчего, я рылся в старом хламе,
Довольствуясь порой осколками звезды,
Ещё не ведая при этом, чьи следы
Остались в мировой полузабытой драме.

Сочувствовала ты, сопутствовала мне,
Особенно стройна под этим светлым сводом,
Где буква каждая по-прежнему в огне,

Так век мой коротал один я год за годом,
Но в этот миг постиг, что я с твоим народом
И только потому с тобой наедине.

1982

ГЕГАРТ

Где камень розовый скрывается в лиловом,
Где,вспенившись, река в своё вцепилась дно,
Твердыня светится, но было бы темно
Под голубеющим крестообразным кровом,

Когда бы не сплелись в согласии суровом
Резные радуги, как будто бы давно
Их не окрасило церковное вино,
Нет, кровь, что пролита распятым в муках Словом.

Снаружи скрытое, сияет изнутри;
Внедрённое в скалу, пробиться ввысь готово
Лучами-всходами, куда ни посмотри.

Свет в копях копится, там,где копьё Христово;
Гегарт, грядущий взрыв сияния святого,
Пещерный Китеж-град, убежище зари.

1982

АРМЕНИЯ, 1988

Уходит из-под ног земля у человека
И разрушается там, где она всплыла,
Когда потоп омыл небесные тела
И во всемирную купель смотрел калека —

Утопленник, решив, что волны — картотека,
Где вечно пишется для олухов хула
Валами-вилами, но мечется пчела
Над мёртвою водой, пока над ней опека

Осуществляется командою комет
И выкопан мертвец с лицом живого Бога,
Как будто превратил в кабину кабинет

Ной новоявленный, не находя предлога
Из щебня вынырнуть, но понял недотрога
Под гнётом этажей: для Бога мёртвых нет.

1988

ЧЛЕНОРАЗДЕЛЬНЫЙ КРИК

Кто говорит, что бар, барак и баррикада
Не против истины, добра и красоты,
Когда взрываются соборы и мосты,
Хоть нет преступников сегодня, кроме стада,

Которое топтать архангела и гада
Привыкло, и твои мне видятся черты
В содоме судорог, на свалке суеты,
В столпотворении чарующего чада,

Откуда слышится членораздельный крик
О том, что небесам нужна ещё защита
От бешенных кликуш и бессловесных клик,

Враждебных красоте, которая убита
В кроваво-сумрачном сумбуре Сумгаита
За то, что у неё твой звёздносмуглый лик.

1988

АНАИТ

Когда покинул я тот вертоград кондовый,
Где роспись росная летучего листа
Казалась при луне изнанкою холста,
А птицей Сирином был выклеван бордовый

Рай, предвещающий мне доступ в сад плодовый
Утёсистых долин, где сладкий вкус креста
У камня каждого и трогает уста,
Давно переведён святыми на медовый

Грабар Грааля, сей библейский монолит,
И претерпев укус учёного шакала,
Который в челюстях язык родной гноит,

Постиг я, что металл чистейшего закала —
Плоть медоносная, тогда поцеловала
Меня сестра моих наитий Анаит.

1988

НАРЕК

Когда весна в садах безоблачных сгорала
И в синем воздухе вторично таял снег,
Ты матери моей под голову Нарек
Успела положить, пока не покарала

Завистливая жизнь тебя, чтобы хорала
Ты не дослушала в звучанье певчих рек...
Кто положил тебе в наш беспощадный век
Нарек под голову, когда ты умирала?

В неисправимый век падений и потерь,
Который лучшими людьми напрасно прожит,
Когда свирепствует победоносный зверь

И кости детские среди развалин гложет,
Армения, тебе кто бережно положит
Нарек спасительный под голову теперь?

1993

Риталий ЗАСЛАВСКИЙ

* * *

И добрые и злые, друзья или враги,
одни мы совершаем последние шаги.

Сотрутся наши споры, сломаются слова,
когда землёй сырою запахнет изо рва,

когда нам раздеваться велят без суеты,
и мы уже стыдиться не будем наготы,

и очередью общей прошьёт нас всех подряд,
и общей нашей смертью нас всех соединят.

О, мы навек забудем, кто прав и кто не прав,
и вдруг посмотрим в небо глазами древних трав.

1990

* * *

Подарил России Бог
дикий холод, свист метели,
чтоб никто спастись не мог
в этой белой канители.

Чтоб никто не мог уйти
от расплаты ненароком...
Водит Бог суровым оком,
всё-то видит он почти.

Я не прячусь. Я приму
всё в отдельности и разом...
Бог следит суровым глазом,
что-то чудится ему.

Я смотрю, упрям и чист,
и казнюсь чужой виною...
И метели дикий свист
раздаётся надо мною.

1993

* * *

Я один. Ни тоски, ни обид.
Лишь вины нависает громада...
Я не знаю, что Бог мне простит,
но на что-то рассчитывать надо.

Я надеюсь, а там поглядим,
я надеюсь, а дальше, как будет.
Надо мной расплывается дым,
разбежались хорошие люди.

Только вертится дней колесо.
Только жизнь, что ни миг, убывает.
Вот и всё. Вот и всё. Вот и всё.
Хоть всего никогда не бывает.

1992

БАЛЛАДА О ПОЛОВИНКЕ

Кто он? Полунемец и полуеврей.
О, судьбы не знал я, кажется, хитрей!

Он на фронт стремился, воевать бы рад,
перед ним захлопнул дверь военкомат:

всё же полунемец — разве наперёд
угадаешь, что он завтра запоёт?

Но ещё к тому же он полуеврей —
и бежать от немца должен поскорей!

Так вот и живёт он, и страдает так —
к беженцу такому проявляя такт,

кто-то вдруг покормит, кто-то даст совет,
даже улыбнётся кто-нибудь в ответ.

Весь располовинен, он бурлит, бурлит,
он ещё к тому же — целый одессит!

Над своей судьбою он смеялся сам,
хоть и видно было по его глазам,

хоть и видно было просто по всему,
что не так на свете весело ему.

Ну, судьба досталась! Он блажит, блажит,
вроде от себя он самого бежит,

немец от еврея убегает в нём,
и еврей от немца мчится под огнём.

Трудно человеку на такой войне,
а уж половинке тяжелей вдвойне!

И когда раздастся где-то скрип дверей,
в нём то немец вздрогнет, то дрожит еврей.

И в его печальной и смешной беде
грозно возникают СМЕРШ, НКВД.

А война грохочет, рядом сущий ад,
рядом, рядом, рядом город Сталинград.

Он бы разве предал? Умер бы скорей
странный этот парень, немец и еврей.

Никому нет дела до его обид,
но анкета в сейфе неспроста лежит,

и в неё косится чей-то хмурый взгляд...
А вокруг кварталы день и ночь горят.

1985

ЯНВАРЬ 1953

В Сибири высились бараки
для нас с тобой.
Росли в питомниках собаки
для нас с тобой.

Формировались эшелоны
для нас с тобой.
Охрана строилась в колонны
для нас с тобой.

А где-то так же птицы пели,
трава цвела,
и шёл народ к неясной цели,
верша дела.

И тяжко лёгкие студились
среди тряпья...
А мы бессмысленно стыдились
самих себя.

А мы отчаянно терзались
несуществующей виной
и безнадёжно состязались
с судьбой иной.

Ведь мы не верили: ну, слухи,
ну, ерунда...
Доверчивы и легкодухи
почти всегда.

О, эти вечные идеи
и вечный бой!
Жиды,
        евреи,
                иудеи,
и мы с тобой.

1991

* * *

Акиму Левичу

Собираются евреи у менóры —
и еврейские заводят разговоры.

А о чём они? О вечной круговерти,
то о жизни разговоры, то о смерти.

А о чём они? О пламени и страсти,
о советской и о всякой прочей власти.

А о чём они? О жизни бесталанной,
о земле чужой, обетованной.

Собираются евреи у меноры.
О, еврейские бессмысленные споры!

О, еврейские бессмысленные вздохи,
и вражда, и примиренья, и подвохи...

Что их ждёт? Да разве они знают?
Бездна времени сияет и зияет.

Заглянуть в неё — и то, должно быть, страшно:
в день сегодняшний... Грядущий... И вчерашний...

Собираются евреи у меноры —
и еврейские заводят разговоры.

1992

* * *

Никто не знает дня рожденья папы.
Родился он в телеге, поутру,
во время Кишинёвского погрома.
И было, боже мой, не до того —
спасались бегством. Что уж эти числа!
Ведь главное тогда казалось — выжить.

А после — приблизительно, условно
мы отмечали этот день в апреле.
Избрали почему-то день шестой,
и так привыкли, что не сомневались:
всё так и есть. А,может быть, и вправду
совпали дни: действительный и мнимый.

Мы собирались за столом. Старанья
моей сестры не пропадали даром:
был у неё талант — из ничего
такие блюда делать, просто чудо!
А если что-то было — о, тогда
язык проглотишь: до чего же вкусно!

И ели, не спеша, не торопясь
(куда спешить?), о чём-то говорили,
отец наивно хвастался уменьем
есть рыбу, он считал, что эта чушь —

особая еврейская наука,
чем он меня, конечно же, смешил.

И мама ела очень аккуратно,
мизинчик оттопырив, чем меня
безмерно раздражала. Понимал я,
что это просто мода из двадцатых,
мещанство. Я мещанства не терпел
и в пику ей хватал всё очень грубо.

Но мне прощали. Хоть вздыхали тяжко:
"Такой уж это непутёвый сын,
совсем не понимает политеса..."
А за окном темнело незаметно,
и к сладкому уже переходили,
а там и уходить пора домой.

Но дети собачонкой занимались,
была такая беленькая Кнопа,
сидевшая упрямо под столом,
закормленное толстое созданье —
и дети не хотели уходить,
едою эту Кнопу ублажая.

Казалось, так и будет без конца
(и в самом деле, жизнь всё длилась, длилась).
И вдруг однажды... Но об этом я
писать подробно не могу, не в силах.
Отец так трудно, страшно умирал,
и мать недавно путь свой завершила.

А я уже старик, и у детей
свои детишки... Есть ли, право, смысл
какой-нибудь в земном существованье?
Я задаю бессмысленный вопрос,
нет никакого на него ответа,
Что было? Что прошло? Что завтра будет?

Стою над бездной. Заглянуть боюсь.
И всё-таки заглядываю: тянет...
О, Господи, прости и помоги!
Откуда это всё взялось? Зачем
куда-то ежедневно пропадает?
Я задаю бессмысленно вопрос
нет никакого на него ответа.

1996

ЧЕТВЕРОСТИШИЯ

* * *

Будто одни произносим слова,
тайный же смысл совместится едва:
вы — о бессмертии, я — лишь о жизни,
вы -- о поэтике, я — об Отчизне.

* * *

За душою — ни гроша,
за душой — одна душа.
Это много или мало?
Вам — не знаю, мне — хватало!

* * *

Исчезнут все: диктаторы, политика...
Неважным станет самый важный год.
А облако по-прежнему — смотрите-ка! —
плывёт себе по небу и плывёт.

* * *

Разве время новое настало?
Разве с прошлым кончено уже?
Статуи свергают с пьедесталов —
остаются идолы в душе...

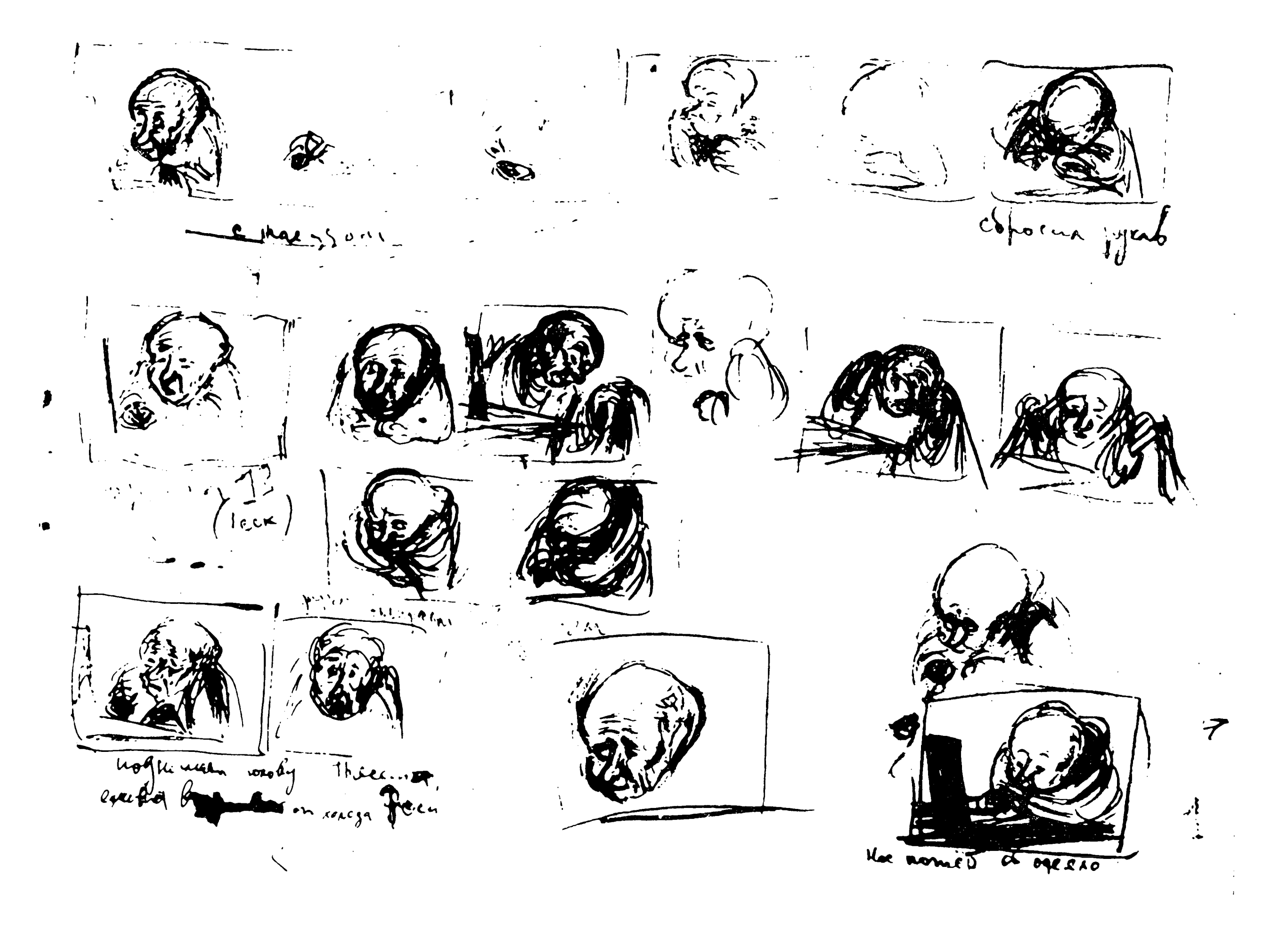
Юрий НОРШТЕЙН. Рисунки к фильму "Шинель" (по повести Н.В.Гоголя). Стр. 104 — 114.



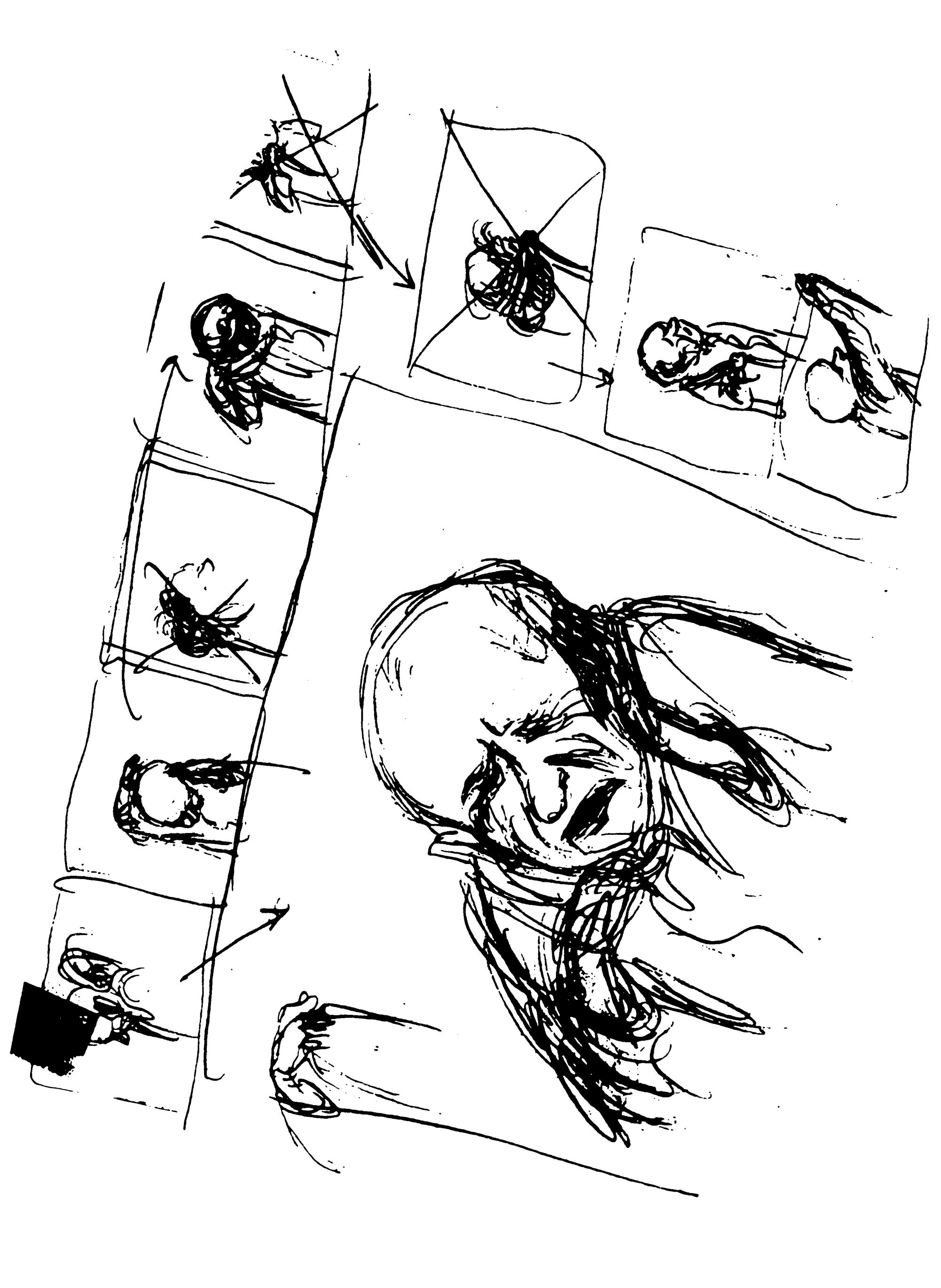
18-1-94 Ю. Норштейн

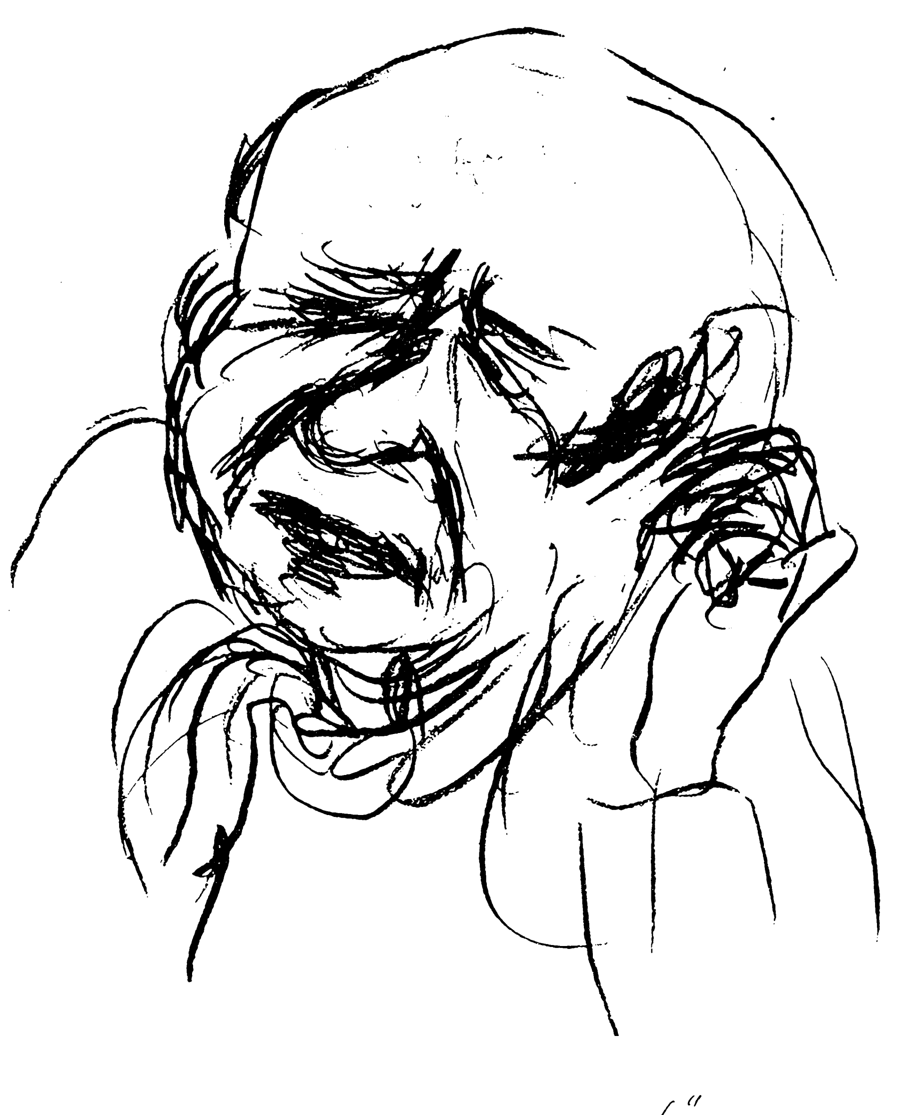
„В департаменте... но лучше не называть, в каком департаменте."

Николай Гоголь

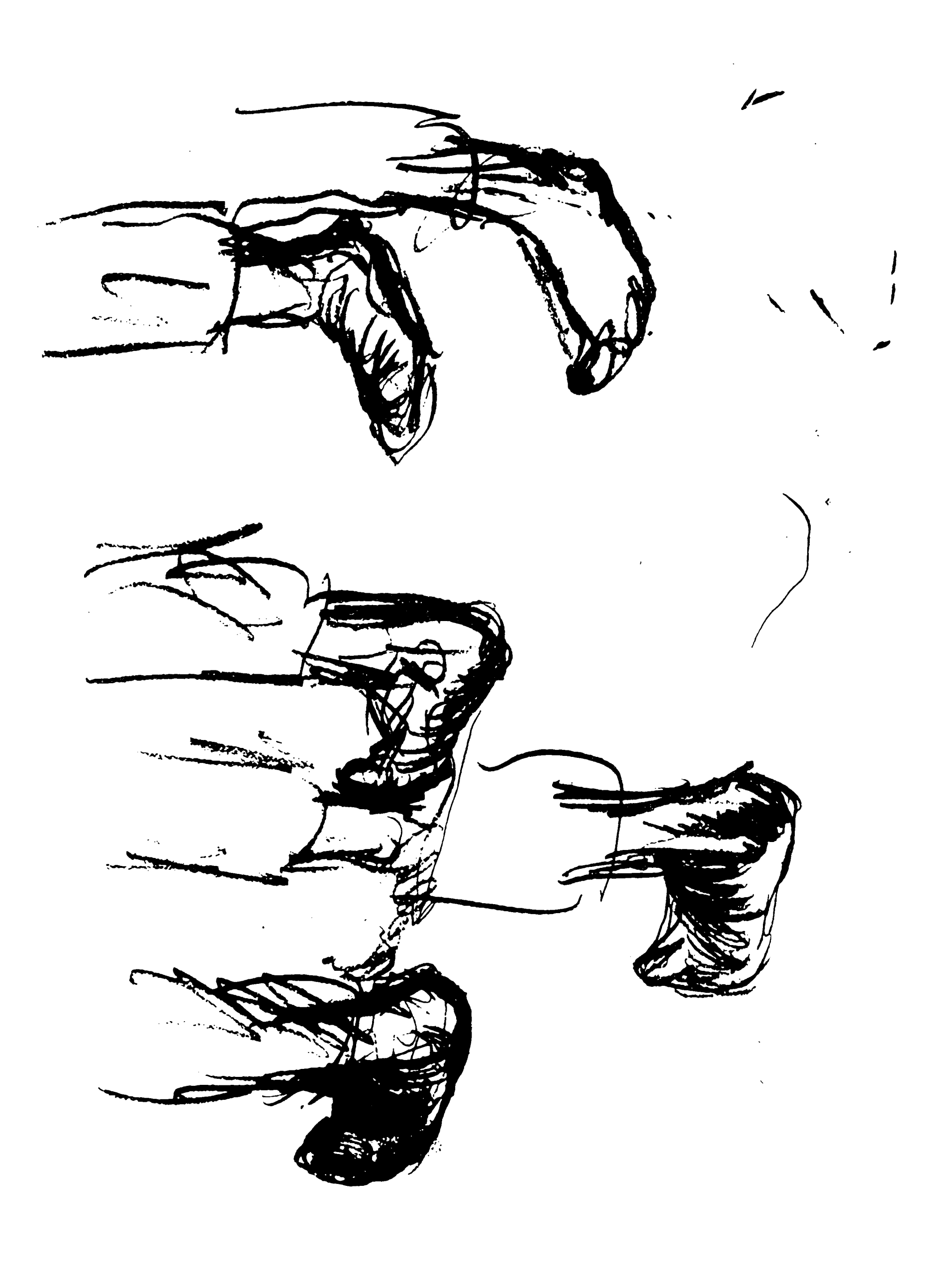

сбросил рукав







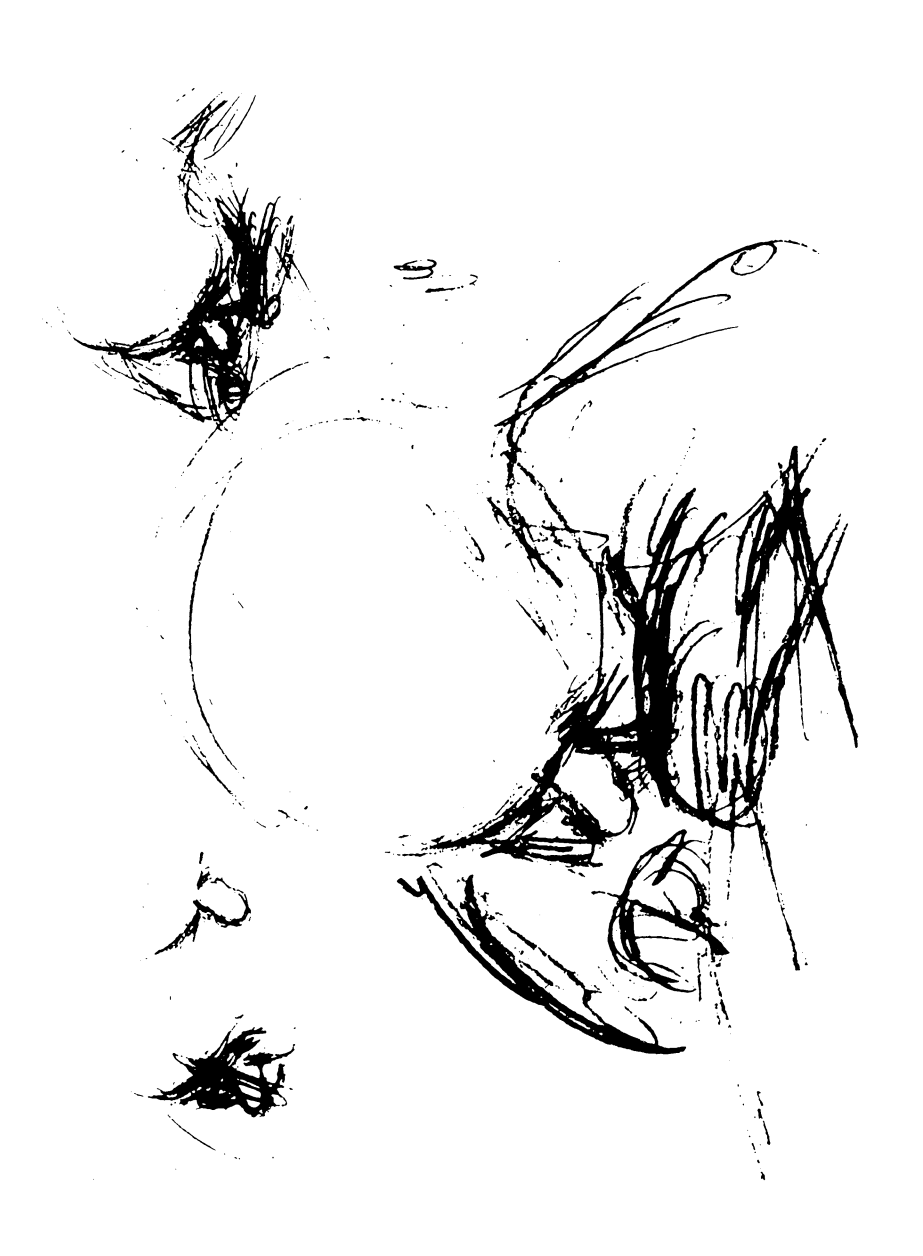
„Приход домой"
Шишкеев. Подготовительный рисунок к фильму. Ю. Нор













Арнольд ГРИГОРЯН

И ТОГДА В ЕРЕВАНЕ...

повесть

И тогда в Ереване,
В нашем маленьком доме
Будет много веселья,
Будет много вина!

песня

1. ЗАДОЛГО ДО МЕНЯ!

Лето. Около четырёх утра. Звёздное небо на глазах теряет свои блёстки, и светлеет как ткань в отбеливателе. С гор потянуло прохладой; ветерок запутался в ветвях тутовника, влетает на балкон второго этажа, где стоит стол, покружил, выскочил и помчался дальше.

Шумное застолье, шашлыки, кофе, фрукты, домашнее мороженое — всё позади. Сытые, разморенные гости — одни мужчины! — разбрелись по дому, кто играет в нарды, а кто, уединившись, обсуждают вопрос, чем обернётся для Армении недавно начавшееся наступление России против Восточной Пруссии и Галиции. Теперь, кажется, ничем их к столу не заманишь. Но это только кажется. На балконе появляется бабушка Шушаник и осторожно, чтобы не привлечь к себе внимания гостей, убирает со стола посуду. Она одна, но поди же, управляется. Вместо запятнанной красным вином скатерти расстилает свежую, ослепительно белую, непременно накрахмаленную. Потом снова появляются хрустальные бокалы, салфетки, приборы.

Гостеприимство деда Огана весьма специфично, его честолюбие столь мощно, что оно подмяло под себя всё, включая открытость дома. Вот и сегодня в светлый праздник Рождества Богородицы он созвал гостей главным образом, чтобы рассказать о своей успешной поездке в Варшаву за мануфактурой. В городе он известен оптовыми заказами на пошив формы для гимназистов и военных, и потому дважды в год уезжает в Москву или Варшаву за материалом. А это для города — событие.

Дед придирчиво осматривает стол и приглашает гостей:

— Ладно, нарды никуда не убегут. Садитесь. — А между тем, вскользь сообщает, что в Варшаве ужинал с Манташевым. (Для непосвященных скажем, что Манташев был крупным предпринимателем, известным не только на Кавказе и в России, но и в Европе).

И пока гости лениво занимают свои места, бабушка Шушаник вносит большое дымящееся блюдо с варёной рыбой.

Эту рыбу никто не классифицировал, не относил к видам и подвидам, отрядам и подотрядам, а тем более не заносил в Красную книгу. Жила она незаметно, доставляла радость людям и пропала вместе с целым поколением. Рыбка исчезла вместе с традициями, запахами, модой, жизненным укладом, вместе с названием реки, где её вылавливали. Река эта в III-I в.в. до н.э. называлась Раздан, а до недавнего времени Зангу. Рыбка и называлась зангинской.

Она невелика, не больше 20-25 см. Сине-серого цвета. Потому прежде её называли ещё и *капут*, что в переводе на русский означает *синяя*.

Выпотрошив, бабушка Шушаник солит каждую в отдельности и в кастрюле укладывает слоями: слой рыбы, слой помидор. Потом опять рыба и снова помидоры. Ничего, кроме рыбы, соли и помидор! Через 10-15 минут дымящееся блюдо подаётся к столу. А теперь только рыба и белое вино!

Гости берут по рыбке и на балконе воцаряется тишина. Никаких тостов, никаких разговоров! Полнейшая сосредоточенность! Рыбка фантастически вкусна, но, Боже, до чего костлява! Как избалованная принцесса она требует к себе абсолютного внимания, а тот, кто высокомерно пренебрегает этим условием тут же наказывается, начинает издавать неприличные гортанные звуки и кто-то более осмотрительный советует: пожуй корочку хлеба. И снова наступает тишина.

После трёх-четырёх рыбок происходит чудо, недавно сытые гости начинают водить носами по столу, нет ли чего поесть? Вот тогда бабушка Шушаник снова, по выражению старожилов, *меняет стол*, выносит на балкон блюда с холодными закусками, толчёный чеснок, редиску, зелень, лаваш. Немного погодя она унесёт бутыли с вином, сменит бокалы на стопки, подаст графинчики с *караунджем* — тутовой водкой. Наступает час *хаша*! Хаш! И первый тост — "С добрым утром!"

2. РАСТЁМ!

Сначала о нравах. Потому что нравы — это главное. Когда меня просят рассказать что-нибудь об армянах, я рассказываю о нравах ереванцев, и сразу становится понятно, что такое армяне, Ереван и что такое ереванцы. Нравы — это главное, как обычаи, уклад жизни, повадки людей; нравы — это то, то объединяет людей одной национальности и отличает их от другой.

Вот, скажем, в Ереване начали ставить в квартирах телефоны. Это уже в последние годы войны и первые годы мирной жизни. Ставят аппараты, естественно, не всем. И женщины толкуют друг с другом так:

— Скажи мне, Сатени́к, кто такой этот Армена́к, что ему поставили телефон? Он что, профессор или нарком, или ещё кто? Вот поставили у вас — понятно. Твой муж связан с районами (здесь необходимо прервать разговор и пояснить, что любой уголок Армении ереванцы называют районом), ему звонят из района, и он звонит в район. У нас поставили — тоже понятно. А почему поставили телефон Арменаку? Ответ, дорогая, прост — связи.

Или вот наступила осень. Во дворах много костров. Варится томатная паста. В одном из домов жена, убирая посуду, выговаривает мужу:

— Ты меня просто поражаешь! Все уже подготовились к зиме, сварили пасту, и только мы одни сидим и ждём чего-то. Выйди на балкон, посмотри, даже Ашхен и та уже всё сделала. Я понимаю, можно всего себя отдать работе, но ты ведь в восемь уходишь, в пять возвращаешься, обедаешь, тут же ложишься на часок поспать, встаёшь, выпьешь стакан чая и опять на работу до двух-трёх ночи! Я больше ни слова не скажу! Живи, как хочешь! Пусть дом катится в тартарары!

После такого монолога глава семьи снимается с места и на целый день уезжает в район, чтобы оттуда привезти самые дешёвые и самые сочные осенние помидоры. Четыре или пять ящиков. И снова со двора тянет кисло-сладким запахом варящихся помидор.

Расскажу, как варится томатная паста. В каждом доме имеется большой медный котёл. У днища пошире, к горловине чуть поуже. Горловина котла отогнута, и потому удобно браться руками за этот выступающий край, когда снимаешь котёл с огня. У некоторых котлов по обе стороны приклёпываются массивные медные ручки. Таких котлов в современных домах не отыскать. В музее города Еревана, что напротив крытого рынка, их тоже нет. Они в хозяйстве на все случаи жизни, в них хозяйки кипятили бельё и варили *мата́х*.

Матáх — это далёкий отзвук языческого жертвоприношения, и вместе с тем современнейшая форма выяснения отношений с Богом. Например, родители обещают матах, если сын вернётся из армии цел и невредим. В наше время матах обещают даже за то, чтобы дочь поступила в медицинский институт или за удачный обмен квартиры. Как видите, Бога благодарят нынче за разное...

В котёл наливают немого воды, и в ней без соли варится петух, барашек или телёнок, смотря по семейному достатку. Но непременно мужского пола и непременно освящённый в церкви. Потом этот самый матах раздают всем: положат кусочек мяса на лаваш и раздают соседям или просто прохожим.

Если котёл несколько раз использовался и внутренность его потемнела, тогда его лудят, и он внутри становится похож на зеркало. Конечно, если его отдают лудильщику, который живёт и работает за углом нашей улицы, а не тому, чья мастерская у старых бань. Потому что после того лудильщика котёл всё равно изнутри останется таким же серым, каким был до лужения, и хорошая хозяйка после этого всё равно отдаст котёл тому лудильщику, который работает за углом нашей улицы.

Прежде чем поставить котёл на огонь, хозяйка проделывает хитрую операцию. Она разводит жидкую глину, а если глины нет поблизости, то просто грязь и ею обмазывает днище котла. Потом, когда котёл будет снят с огня, намного легче отмыть его, так как жирная копоть легко отпадает вместе с засохшей глиной или грязью. И вот, наконец, котёл готов, костёр разведён, около костра поставлен стульчик, рядом со стульчиком — ящики с помидорами. Хозяйка принимается за дело.

Русские говорят: всяк кулик своё болото хвалит. Примерно такая же пословица есть и у армян. Это я опять о помидорах. У наших помидор и цвет другой, и запах, даже форма, извините, другая, а о вкусе и говорить нечего! Надкусишь, посолишь, откусишь ещё раз, и смотришь на мельчайшие, сверкающие под солнцем крупицы, и пока смотришь, тёплый сок стекает на рубашку; хочешь оттереть, но тем самым ещё больше размазываешь красное пятно. Теперь, конечно, рубашку в стирку!

Так вот, сидит хозяйка, а рядом ящики с помидорами. Берёт она по несколько штук и руками давит их в котёл. Когда все помидоры раздавлены, разжигается огонь и помидоры начинают вариться. Тогда-то и несёт со двора тот самый кисло-сладкий запах. А хозяйка помешивает варево деревянной ложкой и говорит другой хозяйке:

— Вот вы мне скажите, тикúн Арусяк (тикúн — это обращение вроде "мадам" или, скорее, "сударыня"), как можно с её фигурой носить труакар? (Разговор о третьей женщине, общей знакомой, а что такое

труакар, я не знаю до сих пор). Вот когда труакар носит Нина Алтунян (была такая красавица с точёной фигурой), это понятно. Помните, в тот год на параде физкультурников в Москве, армянские спортсмены несли её на поднятых руках по Красной площади. На Нину Алтунян приятно смотреть! Вы меня извините, тикин Арусяк, но каждая женщина должна знать свои недостатки. Вот я лично прекрасно знаю свои недостатки, и труакар никогда не закажу. Хотя и очень люблю труакар.

Красная, дивно пахнущая масса между тем вскипает и начинает булькать. А разговор продолжается.

— Мне говорили, что сын Мусаэлянов опять сошёлся с этой самой... Потому и бросил музыку. У него не музыка в голове, а, извините... Вот только отца его понять никак нельзя. Хотя, извините, яблоко от яблони далеко не падает.

Тем временем помидоры сварились. Тогда хозяйка берёт большой медный дуршлаг и выжимает через него красную горячую жидкость. В дуршлаге остаются шкурки, а зёрнышки вместе с жидкой массой переливаются в другой сосуд. Хозяйка отжимает шкурки ладонями, потом разбавляет их водой, отжимает снова и выбрасывает в ведро. После этого она процеживает пока ещё жидкую массу через самое обыкновенное сито. И опять отжимает, откладывая в сторону отжатые шарики, состоящие из одних только помидорных зёрнышек. Аккуратненькие такие шарики, кругленькие, словно снежки, но не из снега, а из помидорных зёрнышек. Стянешь из ведра такой шарик, да незаметно и запустишь в кого-нибудь из сверстников. А пока шарик летит к цели, отворачиваешься и начинаешь разглядывать свои ногти, как-будто видишь их впервые.
Пока то да сё, пока обсуждаются семейные дела Аракелянов или Тадевосянов, наступает самый ответственный момент: паста становится гуще и начинает угрожающе булькать. Это похоже на гейзерские лужи, какими их показывают в научно-популярных фильмах. А чтобы томатная паста не обжигала, хозяйка обматывает руку и конец деревянной ложки мокрым полотенцем.

Потом густая красная (но не коричневая!) паста будет разлита в банки, а зимой своим цветом, ароматом, вкусом вернёт нас к лету. Какое наслаждение зимой помазать котлеты томатом и положить кусочек в рот! А если хотите, то пасту можно наложить на хлеб и есть просто так. Тоже очень вкусно!

А теперь скажу, что хозяйка, которая варит помидоры — моя мама, а рядом сижу я и в который уже раз внимательно разглядываю свои ногти, будто вижу их впервые.

3. ПОЗНАЁМ ЖИЗНЬ!

Лудильщик — это целый мир! Как сказали бы сегодня — незамкнутое пространство! Галактика!

Сам он весь чёрный! Башмаки — чёрные! Брюки — чёрные! Сатиновая рубаха — чёрная! Руки, лицо — всё черное! Вся мастерская дымная и чёрная, кроме синего огня в очажке на печи.

Лудильщику, конечно же, доставляет удовольствие, что за каждым его движением наблюдает несколько пар восторженных детских глаз. Более того, глаза эти, как мне кажется сейчас, наполняют лудильщика энергией, вдохновляют его, однако через полторы лужёных кастрюли он грозно отгоняет нас — не загораживайте воздух, паршивцы! Не заслоняйте свет!

Надеюсь, понятно, что речь именно о том лудильщике, который живёт и работает за углом нашей улицы, а не о том, который устроил свою мастерскую у старых бань. О банях, кстати, рассказ впереди.

Главное в мастерской лудильщика — печь с очажком, мехи и поддувало. Нет, прокопчённые, пахнущие прохладным железом камни в стене — тоже главное. И прокопчённые потолки на них — тоже. Да ещё инструменты на полках. И чёрные пакеты со всякой всячиной — тоже главное.

Рядом с печью ножками в землю утоплена металлическая тумба с углём. Уголь в огонь лудильщик бросает рукой, а вот дальше орудует длинными чёрными щипцами с такой ловкостью, что щипцы становятся похожи на продолжение его волосатых рук. Во время работы (а лудильщик не работает только когда прикуривает папиросу от уголька, взятого из очажка всё теми же щипцами) он похож на несложный и хорошо отлаженный механизм. На правой ноге он стоит. Башмак левой ноги носком вдет в металлическое кольцо, цепью связанное с мехами. Эта нога как бы независимо от лудильщика ритмично раздувает мехи и гонит воздух под колосники. Левой рукой лудильщик длинными щипцами как хочет, так и ворочает кастрюлю на огне. В правой руке зажат большой чёрный тряпичный ком, которым с быстротой молнии он делает круговые движения внутри кастрюли, размазывая по её раскалённой внутренности расплавленное олово.

На металлической тумбе, рядом с углём ввинчена миска с белым, похожим на соль порошком. Когда лудильщик прокалит кастрюлю, он берёт щепотку этого порошка и сильным движением швыряет её в кастрюлю, отчего вспыхивает сине-зелёное пламя и вылетает сноп искр. Совсем как в цирке, когда показывают фокусы! После этого лудильщик

резким движением протирает внутренность кастрюли тряпичным комом. Кастрюля готова!

Начало тридцатых... Ещё не всё смешалось в мире; в городе живут горожане, в деревне — крестьяне. Армяне пока не требуют суверенитета и мирно живут бок о бок с азербайджанцами. Те на базаре крепко держат овощные и фруктовые ряды, да ещё какие! И никому не придёт в голову сделать замечание ереванцу за то, что он говорит на диалекте, содержащем в своём лексиконе массу русских, персидских, турецких, даже французских слов, что придаёт языку если не красоту, то гибкость, выразительность, а главное — объёмность. Лудильщик — *устá,* что по-персидски означает *мастер.* Его так и называют — устá Ашот. Это уже потом, через полвека, ради самоутверждения ереванский диалект будет оскоплён, из него выбросят все иноземные слова и вольные обороты. Правда, есть в армянском языке прекрасное слово *варпéт.* Этим высоким званием наречён великий артист Ваграм Папазян. Он — варпéт. Мартирос Сарьян — варпéт. А вот лудильщик не варпет, а уста. Скорее всего, слово "*уста*" больше всего подходит к мастеровым, ремесленникам. Наверное, оно ушло из современного обихода вместе с настоящими мастеровыми, профессионалами, как мы теперь выражаемся.

С левого верхнего угла, там, где находилась крыша, темень мастерской наискось пронзает солнечный луч, в котором время от времени что-то искрится и исчезает. Это муха. Она в мастерской долго не задерживается, поживиться здесь совершенно нечем.

Мы ещё не досыта налюбовались зрелищем, но приходится всей ораве отступить на несколько шагов. Лудильщик выходит на улицу, оглядывается, затягивается папиросой, потом возвращается в мастерскую, поочерёдно выносит вылуженную за день посуду и аккуратно расставляет её, прислоняя к стене мастерской, а сам садится у дверей на корточки и продолжает курить, не обращая на нас никакого внимания.

Какое же это дивное зрелище! Какое сверкание! Какая красота этих сковородок, кастрюль, вёдер, казанов, в каждом из которых сверкает своё собственное солнце!

Я даже представить себе не могу, чтобы кто-нибудь ещё умел вот так ладно, ухватисто, а главное открыто, на глазах у всех зарабатывать себе на хлеб, как это делал уста Ашот.

4. УЧИМСЯ.

Счастливая, счастливая, невозвратимая пора детства! Как не любить, не лелеять воспоминания о ней? Воспоминания эти освежают, возвышают мою душу и служат для меня источником лучших наслаждений. — Писал Лев Николаевич Толстой о годах, проведённых в окружении маменьки и папеньки, дядюшек, гувернанток и домашних преподавателей в своём родном имении близ Тулы.

Восторг графа понять можно. Но не более того.

Для меня же детство и отрочество были годами наинеприятнейшими! И причиной тому было вовсе не "чистка", когда каждую ночь у нашего подъезда останавливалась чёрная "эмка", из неё выходили двое, а к машине возвращались трое и неизменное мамы — "слава Богу, не к нам". И вовсе не из-за голода, ворвавшегося в мой растущий организм с первых дней войны и прожившего в нём постоянно в течение четырёх бесконечных лет. Из-за хронического недоедания и нехватки витаминов — это на юге! — откусывая ломоть чёрного хлеба, на образовавшейся лунке вместе со следами зубов оставалась аккуратненькая красная каёмка — кровь из дёсен. Нет, и не поэтому, так как все невзгоды обращались в шутку, а неприятности весело забывались — молодость ведь! Забывалось всё, кроме одного — учёбы! Каждодневного хождения в школу, контрольных работ, всех этих "вон из класса!", "без родителей в школу не являйся", "Григорян, твой вопрос поставлен на педсовет" и проч., и проч., и проч.

Школу вспоминаю как десять лет каторжного труда, унижения, подавления личности. Школа выработала во мне стойкую ненависть ко всякой учёбе. Уточню — не к знаниям, а к самому процессу учёбы. И эта ненависть проявлялась всякий раз, когда на смену одной учёбе неминуемо приходила другая. А учиться приходилось непрерывно. Учась побеждать, мы конспектировали и заучивали исторические решения не менее исторических съездов и доклады генсеков. Учась побеждать, мы учились бороться с непарным шелкопрядом и пользоваться торфоперегнойными горшочками. (В государственном театре оперы и балета имени Спендиарова солисты, не сдавшие экзамен по истории ВКП(б), на сцену не допускались). Учась побеждать, мы впитывали мораль человека переходного периода и осваивали поведение при атомной войне. На всю жизнь понятия "учёба" и "принуждение" во мне связались воедино, и у этой ненависти корни, идущие из детства. Разве можно забыть наполненный ядом голос географички:

— А теперь Григорян на карте покажет нам проливы Скагеррак и Каттегат.

Однако до победы над моей личностью ещё далеко, она это видит по горящему взгляду, в котором слепой не прочитал бы одного единственного слова — сволочь! На прошлом уроке в точно вычисленную минуту верёвка оборвалась и карта полушарий рухнула на пол. Пока всем классом искали верёвку, прошло минут десять. Карту приладили, но теперь как по волшебству пропал гвоздь. Ещё минут десять-пятнадцать ушло на шумное обсуждение вопроса, как быть теперь? Урок фактически сорван. Прямых улик против меня у географички нет, но собачий нюх указывает на истинного виновника, и единственная возможность свести с мной счёты — влепить двойку. И она, театрально повернувшись ко мне спиной, как факир в цирке обращается к классу:

— А теперь Григорян на карте покажет нам, где в Африке подзолистые почвы!

Великовозрастные детины, мы как малолетки позорно шушукались у двери, за которой шёл экзамен по литературе, и доверительно сообщали друг другу:

— "Обломова" не спрашивает. Спрашивает "Войну и мир".

— Как? Своими словами или близко к тексту? —И лихорадочно листали учебник.

Учась в школе, я отлично понимал, что ни один из предметов в жизни мне не понадобится, что десять лет меня обучают ерунде. И обучали в основном люди случайные. Исключением были преподаватели литературы и математики.

Математик Михаил Михайлович (естественно, Мих-Мих) часто повторял:

— Если вы, олухи царя небесного, после десяти лет учёбы научитесь пользоваться книгой, буду счастлив.

Вопреки принципам педагогики он широко пользовался заимствованными из нашего обихода прозвищами: Сапог, Гнус, Долговязый, Лом — узкоплечий и худенький мальчик, лупящий правду по каждому поводу, и впрямь был похож на этот незамысловатый инструмент. На радость всему классу Мих-Мих нарёк меня Архимедом. Ну, скажите на милость, в чём моя вина, что я так и не сумел понять разницы между синусом и синусоидой или чем отличается бином Ньютона от теоремы Пифагора?

Всякое можно говорить о детской жестокости, осуждать эгоизм, но чего не отнять у подростков, так это острейшей наблюдательности. Доказательством тому потрясающе точные, как снайперские выстрелы, прозвища, которые щедро рассыпает подросток друзьям, одноклассникам, случайному прохожему.

В течение всего учебного года учитель физики — Точильный камень — дважды в неделю врывался в класс, не здороваясь, даже не посмотрев в нашу сторону, хватал мелок и одним движением руки выводил на доске идеальный круг. Потом от макушки круга проводил горизонтальную прямую со стрелкой на конце, и завершал своё неистовое действо сильнейшим ударом по центру круга, — точку он обозначал с таким остервенением, что мелок брызгами разлетался по всей комнате.

— Возьмём точильный камень! — выкрикивал он, не обращая никакого внимания на возникший при этом гул.

— Возьмём! — ликуя, соглашались мы.

А гул, между тем, не умолкает; ровный такой, тона не высокого, но и не низкого; гул, выматывающий нервы, способный свести с ума не только человека — стул, стол, стены. Рты у нас закрыты, и только по подчёркнуто отвлечённому взгляду можно догадаться об источнике пыточного звука.

Точильный Камень в исступлении совершает внезапный прыжок к одному из нас, прислушивается.

— Скажи "а"!

Глупее задания быть не может, однако оно тут же выполняется с завидной готовностью.

Не приносит ясности и следующий прыжок, на этот раз в противоположный угол класса.

Трудно сказать, какие именно мысли пытался вдолбить в наши головы этот странный человек — центробежные или центростремительные — но дальше точильного камня дело так и не сдвинулось. Через год Лом влетел в класс с ошеломительной новостью — Точильный Камень арестован. За какие-то махинации. Напомню, время было военное и каждый промышлял как мог. Этот преподавал физику в школе.

В школе я начал лгать. Поначалу, чтобы скрыть двойки от родителей, я лгал им, что потерял дневник, а в школе учителям рассказывал сказки, что родители уехали сам не знаю куда. Но ложь, как всякий порок, имеет тенденцию расти, достигая гиперболических размеров, и я вскоре, запутавшись во всём и спасаясь от разоблачений, стал лгать по-крупному. Я лгал и клялся собственным здоровьем, лгал и клялся здоровьем своих родителей; давал "честное пионерское" и лгал; потом "честное комсомольское" и тоже лгал. Лгал и крестился "честное партийное". В те года многие осеняя себя крестным знамением, произносили "честное партийное"!

В школе впервые я ощутил страх. Чувство, которое с годами овладело мной целиком. Первые страхи были по-детски наивны: страх, что родители узнают о двойке по поведению или учительница расскажет

им о моих художествах в классе. Страх рос вместе со мной, теперь это был страх остаться на второй год в классе или вовсе быть исключённым из школы, страх не быть принятым в комсомол (мои дядья жили в Бельгии и мы тщательнейше скрывали эту нашу родовую ущербность) и, наконец, мной овладел главный страх — получить выговор по партийной линии или даже быть исключённым из партии. Ох, ох, ох!

Крепок, стоек был страх, привитый в детстве. До сих пор кровь стынет в жилах, когда вспоминаю — Григорян, к доске.

На самом деле, не было ничего страшнее мёртвой тишины, когда учитель вёл карандашом по классному журналу — кого бы вызвать к доске? Вот он где, страх-то! Карандаш останавливается в верхних рядах фамилий. Неужели меня? Но вот карандаш дрогнул. Тут уже нужна выдержка, сила воли, чтобы не сорваться с места:

— Можно выйти в туалет?

Но этот номер не пройдёт, инквизитор даже не поднимает головы:

— А... Григорян? Что ж, иди, но без родителей не возвращайся.

Как будто мои родители сидят в школьном туалете и ждут не дождутся приглашения в учительскую или к директору.

А карандаш ползёт по классному журналу ниже... Хорошо... Прекрасно! На заклание вызывается другой. И не меня, а его родители вечером спросят:

— Тебя вызывали к доске?

Много позже по телевизору я видел документальный фильм о жизни американских эскимосов. Учительница в школе, беседуя с учениками, время от времени наклонялась и что-то нашёптывала на ухо то одному, то другому. Диктор пояснил — она сообщала отметки. А делает это шёпотом, чтобы не унизить достоинство малышей.

А класс тем временем рад, класс торжествует, класс всем своим сорокапятидушным необузданным существом ощущает приближение краткой свободы, звонка об окончании мучительного урока. И какой божественной мелодией отдаётся в наших душах звонок на перемену, и какой торжествующий вопль исторгается из меня.

Война шла к концу. Трудности и беды воспринимались куда легче, чем в 41-м. Последняя зима выпала суровой — 10-15 градусов мороза. Такого в Ереване не бывало давно. Нас, шестнадцатилетних, начали готовить к мобилизации. И эту обязанность военкомат возложил на преподавателя военного дела раненного-перераненного фронтовика старшего лейтенанта по фамилии Соловей. Каждый день после школьных занятий, а мы уже учились в десятом, он выстраивал нас и мы мар-

шем направлялись в городской парк с романтическим названием "Флора". Одеты мы были кое-как, голодные, уставшие за день.

Добравшись до места назначения, хромоногий командир первым делом выворачивал наши карманы, ссыпал весь табак в самокрутку, сладко затягивался и начинал:

— Тема сегодняшнего занятия — самооборона. Он занял населённый пункт Светлое. — Немцев наш стратег называл исключительно личным местоимением в единственном числе и только в третьем лице. — А ты стоишь в хате. Стоишь за дверью и ждёшь. Он врывается в хату, а ты выскакиваешь из-за двери, ствол его автомата пригибаешь к земле и р-р-раз! Сапогом по яйцам!

Оглядев наши скорбные лица, спрашивает:

— Вопросы есть?

Вопросов нет.

— Пошли дальше. Задание усложняется. Он занял населённый пункт Светлое. А ты в разведке. Осторожно подбираешься к его часовому сзади, делаешь отвлекающий манёвр; камень бросишь или что; он оглядывается, и тут ты хватаешь его автомат, пригибаешь ствол к земле и р-р-раз! Сапогом по яйцам! Вопросы есть? Нет. Отлично.

Задание усложняется ещё больше. Он предпринял воздушный налёт. Наши истребители принимают бой. Но ему удаётся сбросить десант на населённый пункт Светлое. А ты ждёшь в засаде...

Не надо быть военным специалистом, чтобы по достоинству оценить мощь внезапного удара, но главное — мудрость народного способа резко сократить арийское поголовье.

Очень скоро мы настолько хорошо усвоили все тонкости военного искусства, что стоило нашему старшему лейтенанту открыть рот, как мы к его великой радости заканчивали:

— Р-р-раз! И сапогом по яйцам!

Вот это "р-р-раз!" было обязательным. Нередко мы умышленно его опускали, и ничего не неподозревающий наш бедолага поправлял:

— Нет, неправильно! Надо р-р-раз! Ясно?

Примерно так, методично, целеустремлённо из нас выколачивался интерес к занятиям, а из меня в первую очередь к тем, где требовались усидчивость, последовательность мышления, рассудительность, логика, просто здравый смысл. Интерес к биологии у нас улетучился быстро, как только наши незрелые мозги уяснили, что́ именно вытворяют пестики с тычинками (или наоборот). Девочки поджимали губки, когда мы, препохабно хихикая, нарочито громко, как большую новость рассказывали друг другу, что лишний человек Печорин сотворил с княжной Мэри то же самое, что пестик с тычинкой (или наоборот), после чего бросил

её. С биологией я расставался без слёз, как говорится, "была без радости любовь, разлука будет без печали".

Приближались экзамены на аттестат зрелости.

Май в Ереване — месяц жаркий. Особенно его последние дни. Люди ещё не успели придти в себя от радости победы, ещё шумело в ушах "с Победой вас, товарищи!", "наконец-то!", "вот оно, счастье!". Только вчера умолкли ставшие привычными артиллерийские салюты, погасли фейерверки, многие эвакуированные, с которыми ереванцы успели породниться душой, а то и семьями, укладывали чемоданы, собираясь домой. В городе вспыхивали и тут же гасли слухи один невероятнее другого. "Вы слышали, говорят, покончил с собой не Гитлер, а его двойник. А самого Гитлера везут в Москву" . Или "Вы слышали, говорят, Сталин лично руководил штурмом Берлина? Об этом знал только Баграмян!" — "Послушай, где Берлин, где Баграмян?" —"Не знаешь, не говори!"

Мы начинали есть, не задумываясь о завтрашнем дне. Комиссионки заполнились аккордеонами, дешёвыми коврами, фарфором, всякой всячиной, второпях вывезенной из стран Европы. Зайди в любой кинотеатр — трофейный фильм! Лафа! А тут — экзамены! И последний — литература.

Кто не богат душой? Богаты все, у каждого найдётся своя неповторимая мысль, уникальная идея, сюжет, но поди же, не всякий умеет просто и внятно высказаться, кратко, без лишних слов увлечь своими чувствами другого. Седа Аветисян (так звали учительницу литературы) учила нас всему этому.

Недавняя выпускница филологического факультета Ереванского университета, она знала и любила литературу. Помню, однажды перед самыми экзаменами она организовала "суд" над Чацким. Репетировали это дело вовсю! "Судить" Чацкого должен был параллельный десятый. До нас через девочек доходили слухи, что все на "суде" будет чинчинарём: прокурор, следователь, адвокаты, судья. И вот объявление — в школе состоится литературный вечер. Напрягались и мы. Стащили весь приготовленный реквизит — лорнеты, парики, судейский колокольчик, взятые в театре, и всякую другую муть, затолкали всё это в дальний угол школьного чулана, завалили тряпками, старыми вёдрами, мётлами.

И вот вечер. Актовый зал убран, на самом видном месте портрет Грибоедова, учителя взволнованы, подлизы тащат из физкультзала скамейки, все оживлены и только мы невозмутимы. Мы-то знаем, какой конфуз ждёт эту самодеятельность.

Наконец, занавес раздвигается и мы не можем поверить собственным глазам — судья в парике и со звонком, лорнеты, мантии, весь аксессуар на месте.

— Встать, суд идёт!

На следующий день Седа Аветисян спрашивала каждого из нас:

— А почему ты не пришёл на вечер? Было очень интересно.

— А я был, вы даже видели меня.

— Разве? Ну и ну...

Кстати, за глаза Седу Аветисян мы так и называли "ну и ну".

5. МОЕМСЯ!

В Ереване несколько известных людей, если угодно — знаменитостей.

Известный человек в Ереване хирург, профессор Кечек. Слова "*профессор Кечек*" в разговорах произносятся с благоговением, особенно теми, кто может позволить себе сказать "в том году, когда профессор Кечек спас мне жизнь..."

В сонме вознесённых на ереванский Олимп — блистательный оперный бас Исецкий. Несмотря на такую фамилию он — армянин, Левон Тер-Иоанесянц. Исецким восторгаются все, но наиболее ощутимое поклонение достаётся ему от женской половины города. При пуританских нрава довоенного Еревана о некоторых проделках знаменитости предпочитают говорить на ухо.

Известный человек в городе и врач Анна Яковлевна Гиршгорн. Ереванцы так и называют её — *женщина-врач*. Она эпидемиолог, педиатр, диагност высокого класса, и те семьи, которым она была доступна, по сей день должны помнить, сколько детей она спасла от лютовавших в ту пору скарлатины и дифтерии.

А как не вспомнить вечно пьяного, по глаза заросшего бородой Кара-Балу — неотъемлемую достопримечательность ереванских улиц? Он продавал невиданной красоты цветы — где он их выращивал?

Веду рассказ о небольшом отрезке времени, когда "большая посадка" чуть поутихла, а "большая война" ещё не заполыхала. В то время шёпотом произносили имя недавно арестованного Егише Чаренца и немного громче — Аветика Исаакяна, не так давно вернувшегося на родину из Парижа.

Ведя речь о Чаренце, ереванцы, неподкованные в вопросах литературной теории и особенностей творчества Чаренца, после неуклю-

жих попыток объяснить русскому собеседнику сущность поэта, прибегали к доверительному сравнению:

— Чаренц для нас, как ваш Есенин. Такой же талантливый и такой же пьяница и скандалист.

Этим как бы объяснялся арест.

О поэте Аветике Исаакяне говорили более почтительно: правда, не принял советскую власть, скитался; но не потому не принял, что она плоха, а просто не понял вначале, какое счастье несёт советская власть армянскому народу.

Милиционер Андре — тоже знаменитость. Бывало, в белых перчатках со свистком и жезлом становился он на перекрёстке двух главных улиц города и размахивал руками, то простирая их над головой, как будто взывая к небесам, то расставляя их, словно показывая величину пойманной рыбы, вдохновенно управлял движением одинокого трамвая и едущих наперерез ему двух автомашин и телеги, запряжённой клячей.

Несколько десятков горожан, в большинстве мужчин, собравшихся на тротуаре, воплями выражают одобрение каждому жесту жезла, аплодируют, подбадривают возгласами, и, конечно же, выкрикивают советы. Примерные отцы на такое зрелище обычно водят своих детей — не сидеть же им дома в воскресенье! Впрочем, извините, воскресных дней тогда не было, как и недель. Тяжкое наследие прошлого большевики отвергли и установили свою социалистическую и куда более изящную меру времени: первый день, второй день, третий день... подвыходной и выходной. Не воскресенье, а выходной, то есть шестой день. А неделю восстановили аккурат перед самой войной, чтобы увеличить количество рабочих дней.

Вот теперь мы подошли к главной теме рассказа, и, откровенно говоря, затеяли весь этот разговор о знаменитостях только ради того, чтобы назвать ещё одну — банщика *старых бань* Андона.

Старые бани стали старыми, когда недалеко от "чёрного" рынка городские власти построили новые. Ничего интересного в новых банях не было, разве только что временное отсутствие там огромных тараканов, чем издревле славились старые бани. Об этом феномене говорил весь город, но очень скоро тараканы твёрдо заявили о себе на новом месте, и интерес к новым баням пропал. Это я к тому, что наша семья, то есть мама, папа и я ходили мыться в старые бани. Здесь я должен сказать, что в те годы, о которых рассказ, в баню ходили один раз в месяц.

Представляю, как читающий эти строки правоверный армянин вскочит с места, заложит руки на спину, заскрежещет зубами и пойдёт мерить комнату из угла в угол:

— Негодяй! Мерзавец! Предатель! — это обо мне. — В двадцать лет уехал, понимаешь, из Еревана, поселился где-то в Москве, женился чёрт знает на ком, завёл, видите ли, детей-полукровок, оторвался от родины, а теперь оскорбляет нацию. — Это обо мне. — А что, собственно, ты знаешь об армянах? Люди других национальностей ещё прыгали с ветки на ветку, когда у армян была своя культура! Христианство мы приняли задолго до! Нашему театру исполнилось! Впервые комедия Грибоедова "Горе от ума" была поставлена! Армянские термы ещё до нашей эры!

И всё же утверждаю, что ереванцы ходили в баню один раз в месяц. Ну, если хотите, три раза в два месяца, но не чаще. Крупные партийцы или наркомы, может, и мылись чаще, поскольку в их квартирах были ванны. А у остальных, где позволяла площадь, ставились "колонки", вопреки логике называемые ереванцами "кубами". Квартир с "колонками-кубами" было немного, люди ходили в баню. Во всяком случае, люди нашего круга. Мылись, в основном, дома. То голову помоешь, то ноги. А то и "голову до пояса". Мыть "голову до пояса" я не любил больше всего. Только голову — пожалуйста, но "голову до пояса", когда струйка воды стекает по хребтине за трусы... Бр-р-р...

Тело по частям моют дома, а вот в баню ходят раз в месяц. Те, кто живут по ту сторону "чёрного" рынка, ближе к вокзалу, ходят в новые бани, но мы ходим в старые. Чтобы попасть в номера, билет нужно купить заблаговременно. Билеты продаются на определённый час, как, скажем, в кино или на концерт. Отец покупает билет по пути на работу. В общее отделение билеты продаются в кассе, а в номера билет можно купить у Андона. Рано утром он отрывает у кассирши десяток билетов, а потом торгует ими по своему усмотрению.

Андон невелик ростом, но широк в плечах и крепок. Членораздельно говорить ему мешает огромный язык, еле вмещающийся во рту. Впрочем, в декламаторы он и не метит, а нескольких звуков, подкреплённых более чем выразительными жестами, вполне хватает, чтобы сторговаться с клиентом или послать его к...

В коридоре на первом этаже, освещённом одной тусклой лампой, десяток номеров, и Андон здесь полновластный хозяин. Он и кассир, и банщик, и контролёр, а, главное — хранитель тайн, каждая из которых, будь она разглашена, стоила бы жизни не одному ему; но он сообразителен, этот невзрачный на вид человек, поскольку тайны эти ка-

саются некоторых женщин и их всесильных покровителей. Здесь, в этих номерах они встречаются со своими пассиями.

Сейчас мы, то есть родители и я, выйдем из нашего дома и пойдём в баню, поскольку утром отец купил билет, а вы постарайтесь не отставать и слушайте внимательно, если это интересно.

Выйдя из нашего подъезда, ступаем на тротуар — большие квадратные плиты из необработанного розового гранита. Мы с вами привыкли видеть розовый гранит отшлифованным, зализанным, потерявшим своё естество, а по мне он хорош в натуральном виде, этот шероховатый, грубо отёсанный сколок космических катастроф. После хорошего летнего дождя, после того, как падающие с неба сильные упругие струи разбиваются о камень и смывают пыль, розовый гранит, обсыхающий на солнце, красив невероятно! Он и сверкает, он и ластится, и кажется полной своей противоположностью — мягким и пушистым ковром. А через несколько минут камень обсохнет, дорожная пыль снова забьёт поры и всё погаснет. Позже эти плиты будут отодраны и увезены Бог знает куда, а вместо них "отцы города" покроют тротуары асфальтом, а ещё позже тоже плитами, но уже серыми, рукотворными, отлитыми из цемента, воды и песка.

Пройдя три подъезда, то есть мимо шести окон и шести соседок ("Здравствуйте." — "Здравствуйте, да в баню."), мы сворачиваем направо. Дальше нам идти, никуда не сворачивая, только прямо. На противоположной стороне улицы в дверях крохотной парикмахерской стоит уста Саркис. Размеры его парикмахерской чуть больше кресла клиента. За сатиновой занавеской вторая комнатка, ещё меньше и без окна. Там стоит табурет и керосинка на нём. Здесь уста Саркис греет воду для бритья и компрессов. Сейчас он в белом халате стоит в дверях и ждёт посетителя. Уста Саркис здоровается с отцом и провожает нас взглядом. У мамы хорошая фигура, и она это знает.

А мы двигаемся дальше, проходим дом, второй, третий. В последнем подъезде этого дома живёт женщина, которая ненадолго станет моей учительницей музыки. Вообще моя музыкальная учёба — это целая история, достойная подробного описания. И не только о музыке расскажу, сколько о страданиях, связанных с музыкальной учёбой, всеми этими сольфеджио, счётом "и раз, и два, и три". Но об этом позже, а пока четыре ступеньки вниз и дальше тротуар уже не обложен гранитными плитами, а покрыт асфальтом. Мы проходим мимо родильного дома. Это красивое, мрачноватое здание из чёрного туфа унаследовано от царского времени.

Напротив двухэтажная и тоже дореволюционная постройка с балконом. Дом настолько стар и неухожен, что пользоваться балконом

уже небезопасно, и потому балконная дверь заколочена. В этом доме живёт человек, который позже станет директором ереванской киностудии. В городе говорят, что он звёзд с неба не хватает, но, безусловно, честный и строгий. Как выяснилось, строгость и бескомпромиссность в его семье оказались качествами наследственными, генетическими. Сын его тоже пошёл в гору, стал партийным функционером и надолго обосновался в большом кабинете ЦК Компартии Армении. И, как полагается человеку его ранга, в один прекрасный день ему пришлось возглавить комиссию по проверке дел в организации, руководимой отцом. Казалось бы, возьми и откажись! Но куда там! И двинулся сын напролом, за что не лишённые юмора ереванцы окрестили его Павликом Морозовым.

Как тут не вспомнить шварцевского "Дракона"? Там Ланцелот, в ответ на оправдания подонка-выдвиженца "нас так учили", замечает "но почему же ты, скотина эдакая, оказался первым учеником?"

Переходим улочку, трижды переименованную, но первоначально наречённую Царской. И сразу в нос бьёт запах свежевыпеченного *лаваша*. В пекарне работают двое — муж и жена. Жена месит влажно пахнущее тесто, швыряет мучные шарики на полки, навечно облепленные мукой, и покрывает их тряпкой. Потом она раскатывает шарики в тоненькие, овальной формы пластины длиной примерно в три четверти метра и натягивает их на подушку, набитую соломой с отверстиями для пальцев на обратной стороне. Муж с головой ныряет в раскалённый *тондыр* и ловким движением пришлёпывает хлеб к внутренней стороне печи.

На улице прохожих немного, и вообще в городе людей мало, поскольку население Еревана чуть больше двухсот тысяч человек, то есть пока ещё сохранена структура небольшого губернского центра со своим статусом. А это означает, что горожане живут в городе, а крестьяне в деревне, и нет необходимости вырубать чудесные сады и виноградники в предместье Еревана — Норке, чтобы на этом месте отстроить бетонные жилые кубы для недавних крестьян, переселившихся в город в поисках лучшей, чем коллективизация, доли. Но в то время, о котором веду речь, сады пока ещё существуют, и летом на рынке вдоволь абрикосов, персиков и всего другого , чем славен любой солнечный край, и всё это по карману любому горожанину, и даже хватит на то, чтобы зимой в каждой семье было в изобилии всякого родя варений, сушений, солений, приготовленных из щедрого урожая одного лишь городского предместья.

Но пока Ереван насчитывает немногим более двухсот тысяч жителей, и все они — коренные горожане, и, как мы с мамой и папой, ходят в баню один раз в месяц. Напомню, чтобы попасть из нашего дома в старые бани, надо идти прямо, не сворачивая никуда.

Проходим шесть одноэтажных домов, два из которых держатся на подпорках; эти приходится обходить. Пересекаем вторую улочку, тоже трижды переименованную, а первоначально наречённую Бебутовской.

Справа — старый, дореволюционный особняк, теперь приютивший многие семьи. На втором этаже балкончик, рядом оконце, а за ним шестиметровая узенькая комнатка, в которую военным лихолетьем занесло девочку младше меня на три года. Мы, то есть мальчики двух старших классов, влюбились в неё немедленно. Она и сейчас у меня перед глазами — худенькая, с копной чёрных волос, чуть сутулая, поскольку ростом выше подруг, в чёрной юбчонке и белой кофте. У неё, как, впрочем, у большинства из нас, это единственная одежда. Говорит она быстро, и что досадно, своей трескотнёй сбивает меня с толку. Готовишь, бывало, разные слова, чтобы произнести при встрече, а вот вдали появляется её белая кофточка и сердце, лишившись опоры, проваливается куда-то под ноги, а она проходит и с места в карьер несёт несусветную чепуху, и тараторит, и тараторит, а я стою, боясь шелохнуться, чтобы пуговица моей рубашки не выскользнула из её пальцев.

Бог любит троицу, и мы пересекаем третью переименованную улицу, первоначально наречённую Назаровской. Слева остаётся прекрасная, красивейшая из всех церквей Еревана — церковь Св. Григория Просветителя. Судьба её сложилась трагично. Разграбив до ниточки, сначала в ней разместили редакцию газеты "Безбожник", затем открыли кинотеатр под тем же названием, а кончили тем, что, прикрыв и то и другое, отдали церковь под театр кукол. Но она пережила всё, и даже "период обострённой классовой борьбы", стала подмогой верующим в годы войны, но не устояла перед генпланом развития города и была взорвана в 1950 году доблестными сыновьями матери Армении — коммунистами. До чего же объединившиеся варвары всех стран похожи друг на друга!

Церковь Святого Григория Просветителя армяне взрывали точно также, как русские свой Храм Христа Спасителя. И опять в сознание вклинивается шварцевский "Дракон": "Но почему же ты, скотина эдакая, стал первым учеником?"

Повернув влево, мы, наконец, подходим к баням. Здесь мама поднимается к себе на второй этаж в общее отделение, а мы с отцом в коридор, освещённый тусклой лампой. Андон уже ждёт нас и проводит в номер. Это помещение, разделённое стеной. В первой половине деревянный диванчик и вешалка. В углу чугунный нужник, вмурованный в цементный пол. Отец прикладывает к стене газеты, чтобы наши пальто на прикасались к поверхности, изъеденной грибком, и мы начинаем разде-

ваться. Во второй половине едва различимы ванна, цементная лавка с шайками и краны. О номерах в городе говорят много дурного, потому отец крутым кипятком тщательно, несколько раз окатывает лавку, промывает шайки. А я тем времен стою и глазею вокруг, что у отца вызывает естественное раздражение:

— Чего смотришь? Мойся!

Я быстро намыливаю голову, показываю, что изо всех сил скребу волосы и становлюсь под душ. Вижу, отец с намыленной головой шарит руками по лавке в поисках куска мыла. Я осторожно пододвигаю мыло к его руке. Когда отец открывает глаза, то снова видит меня, стоящего без движения.

— Ты почему не моешься?

— А я уже.

И только теперь я стал понимать, почему старики моются так долго. Стоя под струями, они отключаются от мыслей.

И я теперь моюсь долго. Даже очень долго.

6. БРЕЕМСЯ!

Опять рискую навлечь на себя гнев праведных армян, но ничего поделать не могу, должен заявить во всеуслышанье, что ереванцы в военные годы брились один-два раза в неделю. Повторяю, брились один или в лучшем случае два раза в неделю и никак не чаще.

И сам факт бритья был настолько значителен, что за версту пахнущего одеколоном бритого мужчину встречали приветствием, которое к сожалению, перевести на русский язык никак не могу. Нет в русском языке эквивалента слову "*ануш*", одного из прекраснейших армянских слов. После жаркой бани вам непременно скажут "пусть баня будет тебе *ануш*", т.е. с "лёгким паром". Нет, никак не могу подобрать подходящего русского слова, хотя бы потому, что Ануш это ещё и прелестное женское имя. Этим именем замечательный армянский поэт Ованес Туманян назвал одну из лучших своих поэм, а композитор Армен Тигранян создал оперу "Ануш".

Итак, бреемся! Начнём с того, что дома брились не все, в основном брились в многочисленных парикмахерских. На одной нашей коротенькой, длиной не более пятисот метров улочке мужчин ждали у своего порога четыре парикмахера.

— Здравствуйте.

— Здравствуйте. Можно?

— Прошу вас.

Одним движением простынки, которую позже он накинет вам на грудь, парикмахер смахивает с кресла и столика волосы вашего предшественника.

— Пожалуйста.

Ереванцы почти все родственники — близкие или дальние; если же не родственники, то знакомые; и тоже — близкие или дальние.

— Сусанна, ты Ашота знаешь? Ну, того, мужа нашей Араксии, которые жили на Назаровской. У них даже общий балкон был с Гургеном, пока Ашот не разъехался с сыном; не тем, который от первой жены (какой же прекрасный человек была эта Анаид!), а от второй, этой певицы, — чтоб провалилась под ней земля! — судьбы двух мужчин исковеркала, а потом уехала с этим головорезом Арто в Хабаровск. Кстати, ты не знаешь, где этот Хабаровск находится?

Вот и теперь уста Саркис спрашивает клиента, усевшегося в кресло и рассматривающего себя в зеркале с таким любопытством, как будто видит себя впервые:

— Чем закончился разговор с Эдиком?

И пока клиент, называя каждого только по имени, пересказывает вчерашнее обсуждение в горсовете новой трассы трамвая — Эдик и есть председатель горсовета — парикмахер выносит из подсобки металлический подносик с тремя такими же металлическими предметами: стаканчиком с кипятком, небольшой чашечкой с помазком и мыльницей. Не путать её с привычными пластмассовыми современными мыльницами, это скорее большая солонка с мыльным порошком. Продолжая разговаривать, уста Саркис вытряхивает порошок в чашечку, обмакивает помазок в кипяток и взбивает пену. Когда с этим процессом покончено, он большим пальцем приподнимает подбородок клиента, обильно намыливает лицо и берёт со стола одну из двух или трёх опасных бритв.

На смену опасным бритвам пришли безопасные "жиллеты", потом электрические "эры", "брауны", а тогда у всякого уважающего себя мужчины дома в ящике шкафа непременно лежала опасная бритва "золинген", "два мальчика" или ещё какая иностранная невидаль. И вот теперь, когда клиент вдоволь насмотрелся на своё отражение, уста Саркис на ремне, приделанном к стене, начинает править бритву. И при этом непременно продолжает беседу. Разговаривая, он смотрит не на клиента, а опять же на его отражение в зеркале, что не мешает заметить проходящего мимо дверей знакомого:

— Здравствуй, Аршак.

— Уста Саркис, Катюша просила зайти к ней.

— Да, да. Конечно. Помню. Спасибо.

Уста Саркис обращается к отражению и поясняет:

— Это насчёт сына доктора Петросяна. Ему из Москвы привезли двухколёсный велосипед, а насос к нему положить забыли. А у нашего соседа, ты его знаешь, краснодеревщика Тиграна, сына забрали в армию, так что футбольный мяч теперь накачивать некому. Что же насосу зря валяться?

Бритва выправлена.

— Прошу.

Уста Саркис хорошо знает своих посетителей, бреет их по много лет, и потому кое-кого выбривает, то есть бреет по второму разу, но теперь уже против волоса. Процедура малоприятная, но для щетинистых армян важная, поскольку у некоторых волос на лице успевает проклюнуться даже по пути из парикмахерской в гости, на работу или куда ещё.

Уста Саркис тем временем уходит в подсобку, где на керосинке постоянно кипит вода, возвращается с отжатой дымящейся салфеткой и ладонями плотно прижимает её к лицу клиента. Подержав минуту, он приступает к завершению — пульверизатором освежает разгорячённое компрессом лицо. Затем, сняв простынку, создаёт рукотворную прохладу. У клиента при этом на лице возникает некая значительность, особого рода достоинство, даже превосходство над всеми небритыми.

Первая "большая" парикмахерская (на целых четыре кресла!) в Ереване появилась после войны, в сорок шестом, когда в Армению прибыл первый караван репатриантов. Кто-то из вернувшихся на историческую родину вместе с собственным скарбом привёз оборудование парикмахерской.

Ереванцы с восторгом сообщали друг другу:

— Ты был в новой парикмахерской? Говорят, там вместо столиков перед тобой приделан умывальник. Вот это да!

Теперь в н о в ы х парикмахерских лежала свежая газета, по радио громко на весь зал звучал текст очередного заявления Жолио-Кюри о необходимости осуждения ядерной гонки, сообщения о достижениях трудящихся к 70-летию со дня рождения великого вождя народов товарища Сталина и всё реже можно было услышать о том, что насос сына краснодеревщика Тиграна нужно отдать сыну доктора Петросяна, которому из Москвы привезли двухколёсный велосипед, а насос к нему положить забыли...

7. МУЗИЦИРУЕМ!

Напомню, чтобы из нашего дома попасть в старые бани, надо выйти из подъезда, повернуть направо, потом ещё раз повернуть направо и дальше, под прямым углом пересекая три улицы, идти прямо и только прямо. Если кто не понял, как расположены улицы в нашей округе, то пусть он представит себя в Петербурге, или, на худой конец, в Нью-Йорке, где улицы, как и у нас, параллельны и пересекаются другими только под прямым углом.

Короче, всё как в Нью-Йорке за одним исключением — нет там прекрасных зданий, созданных талантом Таманяна. Убедиться в том, что творчество этого архитектора может украсить любой город, проще простого. Для этого не надо покупать авиабилет, лететь в Ереван, чтобы увидеть в натуре театр оперы и балета имени Спендиарова или выйти на центральную площадь, с птичьего полёта похожую на огромный перстень с изумрудом шелестящего фонтана, окаймлённого зданиями из розового и жёлтого туфа. Достаточно на троллейбусе по Садовому кольцу доехать до Девятинского переулка, выйти и сделать несколько шагов к Новому Арбату и тогда в глубине улицы вы увидите маленькое архитектурное чудо — дворец купца Щербатова, созданный талантом Александра Ивановича Таманяна. Не поленитесь, поезжайте. Две-три минуты, проведённые лицом к лицу с московским жилым домом недавнего прошлого, не пройдут для вас бесследно, поверьте.

К чему это я? Ага, чтобы сказать, что обратно из старых бань мы возвращаемся домой той же дорогой, а вот чтобы из нашего дома дойти до музыкальной школы, где я учусь, надо опять же выйти из подъезда, повернуть направо и, уже никуда не сворачивая, идти только прямо.

Пропустите меня вперёд и незаметно следуйте за мной, сейчас вы увидите удивительное превращение, почти фокус.

Вот малыш с огромной кроваво-красной с золотым тиснением "Musik" папкой через плечо переходит одну улицу, вторую, третью, и вдруг какая-то сила, похожая на магнит, прижимает его к стене небольшого особняка турецкого консульства и не даёт перейти на противоположный тротуар. Постойте, а куда вдруг делся тот мальчик? Вместо него, еле отрывая ноги от мостовой, низко опустив подбородок, улицу переходит сгорбленный старичок, и, испепелив не по-детски ненавидящим взглядом доску со словами "Ереванская начальная музыкальная школа", впихивает себя в дверь трёхэтажного здания, постоянно источающего невообразимую разноголосицу музыкальных инструментов.

Судьбе угодно было распорядиться так, что мы с Моцартом свою жизнь связали с музыкой почти ровесниками. Моцарту исполнилось четыре, когда в Зальцбурге по настоянию отца он уселся за клавесин и дал свой первый концерт, а мне было пять, когда мама напомнила отцу, что все дети из хороших семей должны учиться музыке. И пора проверить слух ребёнка. Если он абсолютный (мама так и сказала — абсолютный), то надо купить скрипку, ну, а если нет, но у ребёнка хорошее чувство ритма, то пусть учится играть на пианино. Конечно, сказала мама, не для того, чтобы концертами он зарабатывал себе на хлеб, но хотя бы для того, чтобы мог что-нибудь сыграть для себя. Мама так и сказала — хотя бы для того, чтобы он мог что-нибудь сыграть для себя.

Вероятнее всего, в помещении, где проверялся мой слух, вот уже многие десятилетия, как и полагается на территории, подвергшейся радиации, не разводится живность, вянет и гибнет растительность. Так что решено было учить меня играть на пианино.

Начало моего музыкального образования связано с событием столь важным, что обойти его молчанием невозможно, а именно — в Ереван из неведомой в тридцатые Бельгии на наше имя пришла посылка. Чтобы понять, а главное, достойно оценить сказанное, необходимо набраться терпения и совершить небольшое отступление, которое начнётся с рассказа о моём деде по материнской линии.

Родился и вырос он в деревне. Без всякого образования. Читать умел лишь по слогам, да и то только вслух, а вот писать так и не научился. Человек он был суровый, деспотичный. Совсем молодым решил, что в деревне ему делать нечего и один подался в город. Как у большинства людей, кардинально меняющих свой социальный статус, главным в его характере была настырность. В Ереване он поступил учеником к портному и благодаря своему упорству... нет, именно настырности! — очень скоро не только научился ловко "*бить иглой*" (таков точный перевод с армянского понятия "портной на скорую руку"; или ещё говорят "сапожник на скорую руку" то есть "холодный сапожник"), но и решился открыть собственную мастерскую, наняв шесть подмастерьев. Дело пошло в гору, но будучи начисто лишённым творческой жилки, индивидуальных заказов дед не брал и выполнял исключительно оптовые — шил формы для гимназистов, учеников ремесленных школ, отчасти для русской армии, дислоцированной на границе с Турцией в Александрополе, который был переименован в Ленинакан, где в 1988 году случилось то ужасное землетрясение.

Бабушка Шушаник, младшая дочь обедневшей дворянской семьи Арцруни, в детстве упала с дерева и сломала кисть правой руки. Кость срослась, но работу по хозяйству она могла выполнять не всякую,

а потому и не всякий бы на ней женился. Вот и выдали её за деда. Расчёт оказался точным — родители сбагрили дочь с изъяном, а дед получил в жёны девушку из именитого рода. Поди, плохо для лимитчика!

В жизни мне не приходилось видеть человека более угнетённого, забитого, безответного, чем моя бабушка Шушаник, и вместе с тем такую нежную, заботливую, отзывчивую.

Дед называл бабушку Шушаник "мокрой курицей", это когда она недосаливала обед (и тут сказывалась её безумная осторожность!) или когда, играя в подкидного дурака, отлично зная азартный характер деда-картёжника, его невоздержанность при проигрыше и отчаянную скупость, она, умышленно выбрасывала ожидаемую дедом карту. Тот выигрывал и, как хлебные крошки сгребая со стола медяки, торжествовал:

— Мокрая курица! Что бы ты делала без меня!

Она и впрямь была похожа на маленького мокрого воробышка.

У деда с бабушкой Шушаник было трое детей — старший Айк, средняя моя мама, младший Аветик. Дальнейшее рассказываю со слов мамы.

Айку шёл девятнадцатый год, он учился в коммерческом училище, когда дома заметили, что он возвращается поздно вечером, а иногда и ночью. Сначала решили, что тут замешана женщина, но Ереван — город крохотный, такое не упрячешь. Чтобы по утрам не опаздывать на занятия (а, возвращаясь домой, Айк запирался в своей комнате и засыпал мёртвым сном), он просил брата и сестру (мою маму) будить его. Однако задание оказалось не из лёгких: стучать в дверь нельзя, того и гляди, разбудишь деда, пойдут вопросы. Как же быть? И тогда Айк придумал — перед сном он привязывал к ноге верёвку, а другой конец выпускал за дверь. Дёргали утром, и дело, как говорится, с концом.

К тому времени дома узнали причину ночных занятий Айка. Яблоко и на этот раз упало недалеко от яблони, сын пошёл в отца и с головой нырнул в карточную игру. Деду донесли, что Айка опять видели за карточным столом. А что касается деда, то он слепо следовал максиме: делу время, потехе час, работал в течение недели наравне с подмастерьями, а в воскресенье уходил играть до глубокой ночи. Но тогда уж не подходи! А тут этот мальчишка, этот щенок! Несколько крупных скандалов ни к чему не привели.

А вскоре разразилась гроза. День праздничный, за обеденным столом собрались все: дед, бабушка Шушаник, трое детей, шесть подмастерьев, которые жили тут же в доме деда. После обязательных тостов, как и полагается в праздник, дед полез в сейф, чтобы выдать им деньги. Отпер сейф и...

Оказывается, накануне ночью Айк, проигравшись вдрызг, проник в дом, вытащил из кармана спящего отца ключ от сейфа и в надежде отыграться выгреб оттуда всю наличность.

Одного огненного взгляда деда было достаточно, чтобы без всяких версий установить истину. Айк ни жив ни мёртв поднялся из-за стола и тут же был сражён сильнейшей пощёчиной.

— Вор!

Это уже в наше время стёрлась грань между воровством и так называемым бизнесом, между человеком, обчистившим государственную казну, и коммерсантом, а ещё совсем недавно не было ничего оскорбительнее короткого, как выстрел, слова "*вор*".

Айк выбежал из комнаты, хлопнув дверью, и был таков. Несколько дней думали, что от угрызений совести он покончил с собой, но предположение не подтвердилось. Человек исчез, растворился в воздухе! Горевали месяц, другой, год, второй. И вот после трёх лет неизвестности от него пришло письмо. И как вы думаете, откуда? Из Бельгии, Брюсселя! Написал он, естественно, брату Аветику. Маме и сестре приветы, об отце ни слова, вот он какой! Написал, что в ту же ночь выехал в Тифлис, там в каком-то игорном доме отхватил серьёзный куш, на выигранные деньги добрался до Батума, оттуда уже проторенным русскими эмигрантами путём до Константинополя и дальше в Европу. Обосновался в Брюсселе, устроился коммивояжером, кое-как научился говорить по-французски, денег сейчас хватает и на жизнь и на казино. Приглашает Аветика к себе в Брюссель. Недолго одолевали сомнения юную душу и уже через несколько месяцев Аветик вышел на перрон железнодорожного вокзала в Брюсселе и очутился в объятиях брата.

Жизнь всё расставляет по местам. Айк очень скоро стал Жаном, Аветик преобразился в Викто́ра; старший брат, с детства недолюбливающий всякий труд, играя в казино, сколотил состояние, младший открыл собственное дело; Айк-Жан простил отцу пощёчину и через несколько лет дед и бабушка Шушаник укатили в Бельгию к сыновьям.

Вот мы и добрались до моего музыкального образования, поскольку оно связано с посылкой, полученной из Брюсселя. В ней помимо всякой всячины, лежала полная для меня экипировка: лакированные туфли, клетчатые носки, брюки-гольф, коротенький пиджак с округлёнными полами, кремового цвета шёлковая рубашка и берет с большим помпоном.

Завершающий точный мазок необходим не только в искусстве. В моём экстерьере он был поставлен в виде уже знакомой кроваво-красной папки с золотым тиснением "Musik". Теперь только слепой не

увидел бы, что я мальчик из хорошей семьи. Оставалась мелочь — наполнить сосуд достойным содержанием.

Нам с Моцартом исполнилось по восемь, когда отец великого композитора повёз его концертировать в Лондон, а моя мама повела меня в Ереванскую начальную музыкальную школу. Отсюда наши с Моцартом пути разошлись.

А теперь пришла пора объяснить, почему вначале я так подробно описывал путь в музыкальную школу. Выйдите из нашего подъезда, шагните направо и у первого же перекрёстка увидите группу из трёх-четырёх моих ровесников, катающих колесо или крутящих волчок. При виде меня они тут же бросают свои занятия и замирают, как охотничьи собаки, почуявшие дичь. Они будут меня бить. Не из злобы, не ради каких-то не поделённых детских радостей, а бить просто так, потому что не бить т а к о г о — грех. Я покорно двигаюсь навстречу ухмыляющимся босоногим инквизиторам, и вскоре обречённость заменяется чисто садо-мазахистской тягой к мучителям.

Объяснить этот фрейдистский комплекс проще простого — об ослушании или сопротивлении воле мамы не могло быть и речи, она с такой любовью одевала меня, так самозабвенно обхаживала, что мне и в голову не могло придти сбросить с себя этот маскарадный костюм. И вот теперь не мне, а другим предстояло разделаться со всеми этими тряпками, а заодно и со мной за нерешительность и конформизм.

Подхожу. Стоим совсем близко. Они молчат, и я молчу. С театральным безразличием разглядывают меня. Казалось бы, обойди их и двигай дальше, но не тут-то было — они стоят так, что не обойдёшь, не зацепив кого-нибудь, а они только этого и ждут. И тут запускается самая сволочная тактика — самый маленький, этакий шпингалет, пятилетний шибздик подходит ко мне вплотную и большим пальцем босой ножки наступает на мой лакированный носок. Этот крохотный мерзавец силён своей босоногостью, грязной рубашкой, не по росту большими и потому постоянно сваливающимися брючками, а главное — соплями, повисающими из ноздрей с таким же упрямством, с каким он втягивает их обратно.

Экзекуция носит чисто ритуальный характер: шпингалет продолжает наступать до тех пор, пока моё терпение не истощается, и я рукой очень осторожно отталкиваю его. Вот тут и начинается! Да ты что? Маленького? Все видели? (На улице никого!) Все видели, как он ударил маленького? Вот тебе за это! Две-три оплеухи, подножка и падение в пыль уравнивает меня с окружающей действительностью. Я испачкан так, что появляться в таком виде на уроке музыки невозможно, но и об-

ратного пути нет — мама тут же начнёт допрос — кто тебя так? Пойдём, покажи его!

Самое непростительное — это ябедничество! И не только по законам Её Величества Улицы! Это уже урок отца. И я двигаюсь дальше.

На втором углу процесс уравниловки происходит не столь мрачно. Здесь меня ждёт игра! Такие же, как я, семилетние, человек пять-шесть, весело перебрасываясь шуточками, образуют круг, впускают меня в эту живую изгородь, и тут один из них срывает с меня злополучный берет с помпоном. Когда же я подлетаю к обидчику, тот перебрасывает берет другому. В первые минуты мне кажется, что всё же сумею перехватить свой дурацкий головной убор, но как назло папка сползает с плеча и вместе с другими в пыль летят ноты ненавистной песни, сотворённой совместными усилиями авторов "Фауста" и "Аппассионаты" об их кругосветном круизе с сурком. Почему-то все годы музыкального образования меня преследовала история этого мерзкого грызуна.

К следующему лету всё изменится. Интерес мамы к моей наружности заметно ослабнет, а учительнице сольфеджио удастся её убедить, что из меня всё равно ничего не получится. Одежда, напоминающая костюм Чарли Чаплина, сложена в сундук, беретом заткнута дымовая труба. Всё это коренным образом изменило соотношение сил между мной и Улицей. Теперь зов, скликающий мальчишек, касается и меня. Вон там, в конце улицы, появился мужчина, увешанный бубенцами, колокольцами; в каждой руке по жезлу, увенчанному украшениями, похожими на павлиньи перья. Это городской сумасшедший Сагател. Теперь долг каждого из нас выкрикнуть всех из домов, никого не обделить зрелищем.

Только успеваем разбежаться, как снова раздаётся зов — это приехал продавец *мацуна* (кислого молока). Его осёл, почуяв поблизости ослицу, выпускает из себя своё длиннющее *это самое*. А мы бегаем вокруг, приседаем, отталкиваем друг друга, стараясь занять самое удобное для наблюдения место. А тут мама:

— Немедленно отойди! Там нет ничего интересного!

Как то есть "нет ничего интересного?!" А что, собственно, может быть интереснее?! И мы криками восторга сопровождаем каждый удар осла своим этим самым длиннющим себя по животу. Так несчастное животное отгоняет мух, не имея возможности применить своё это самое по прямому назначению.

Пройдут годы, судьба всех расставит по местам. Тот, который умудрялся участвовать в коллективном издевательстве надо мной, и одновременно подбрасывал мяч ногой, не давая ему упасть на землю, станет известным изобретателем; этот самый юркий, громче всех ору-

щий "Кинь мне! Кинь мне!" вырастет в крупного астрофизика; третий, чьё имя добивалась узнать мама, станет хирургом, к которому потянутся больные со всего света. И не знала, не ведала моя бедная мама, что не я, а вот этот долговязый балбес, в любое время года с ваткой в ушах, станет музыкантом.

Но это всё потом, а пока с большим опозданием вкатываюсь в класс, где полтора десятка гениев, разевая рты, готовятся осчастливить человечество, и первым делом начинаю приводить в порядок свой гардероб. Шнур опять слезает с плеча, ноты и тетради вываливаются из папки, и чем торопливее стараюсь подобрать весь этот ворох, тем больше внимания привлекаю к себе. Полтора десятка гениев осуждающе умолкают.

— Григорян, оставь ноты в покое! Потом разберёшься. И не пыли! Сядь на место! — Учительница сольфеджио смотрит на меня с таким бесконечным состраданием, что слёзы вот-вот брызнут из её глаз.

Невозможно поверить, но за шесть лет учёбы я так и не услышал ни одной мелодии, исполненной мною. Все эти годы я следил только за тем, чтобы кисть держать свободной и прикасаться к клавишам только подушечками пальцев. "И! И-до, и-ре, и-фа! Нет, не так! Стоп! Стоп! Стоп! Кисть напряжена, так нельзя! Свободнее кисть, ещё свободнее! Начали! И! Стоп! Стоп!"

Уже в Москве, увидев, что вытворяют с клавиатурой великие Рихтер и Горовиц, я ахнул. Хотелось подскочить и крикнуть: Стоп! Стоп! Стоп! Слава (или Володя), так нельзя! Давай ещё разок! Кисть свободна! Прикасаемся к клавишам только подушечками пальцев! Слышишь, Слава (или Володя)!

Учительница музыки Елена Ивановна Мадатова, казавшаяся мне глубокой старухой (на самом деле ей не было и сорока) всегда чутко улавливала момент, когда, сидя за роялем, моя суть вдруг приподнималась с вертящегося стула, взлетала в воздух и, сделав прощальный круг в классной комнате, вылетала в окно, на волю, где вместо Тома Сойера, со свечой в руках я спасал в катакомбах белокурую Бекки Тэчер, потом быстро подплывал на лодке Герасима и в последнюю минуту успевал перерезать верёвку на шее Муму. Там на свободе была моя стихия, моя музыка, мои мелодии, тысячи моих сюжетов.

...Рассказывают, однажды мальчик с учительницей музыки разучивали какой-то этюд. Дело не ладилось, мальчик всё сбивался и сбивался, то не туда тыкнет пальцем, то не тогда. Но учительница была терпелива:

— Давай ещё разок. Фа диез, ре, ре минор. Теперь работает левая рука. Ре, ми, фа бемоль. Следи за левой рукой. Слабее кисть. Уже лучше, но давай повторим ещё раз.

Вдруг мальчик тихо произнёс:

— Я убит, — упал на пол, распростёр руки и закрыл глаза.

Учительница в ужасе, неужели переусердствовала! Трогает мальчика, тормошит. Нет, не двигается. Ах, говорила же мама мальчика — вы не знает, какой он у меня впечатлительный! Учительница выбежала в коридор, позвала на помощь, сбежались другие педагоги, поднялась паника. И тогда кто-то умный обратил внимание на то, что веки мальчика предательски вздрагивают, просто спросил:

— Послушай, что с тобой?

— Я же сказал, что я убит, — ответил мальчик, поднялся как ни в чём не бывало и стал отряхивать штаны.

Не находя, в какой карман сунуть носовой платок, он со всеми подробностями рассказал, что только сейчас шёл тёмным лесом, как вдруг услышал тихий женский голос. Подбежал, видит прекрасная незнакомка. Она рассказала, что ей чудом удалось спастись от разбойников и теперь она торопится в замок на день рождения своей подруги. Он помог ей подняться, но тут услышал топот копыт, их обнаружили преследователи. Пришлось принять бой. Силы были не равны, но перестрелка продолжалась.

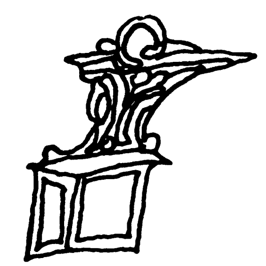
— Ах, вы ранены! — вскрикнула прекрасная незнакомка.

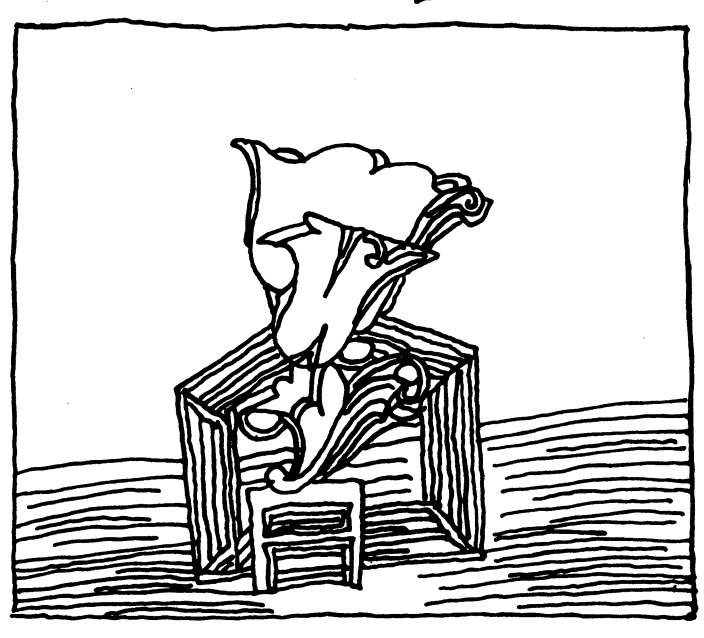
— Пустяки! — мальчик продолжал стрелять, а тем временем всё ближе отступал к воротам замка. Патроны кончились, и он выхватил шпагу.

— Бегите! — крикнул спаситель. Прекрасная незнакомка вбежала в ворота и они закрылись.

— Прощайте, — прошептал спаситель и упал, сражённый пулей.

КОЧЕЙШВИЛИ
БОРИС
СТИХИ





абажур
абзац
аббат
начало
русского
орфографического
словаря
ящер
ящик
ящур
конец

"для гладкой
барxатистой кожи"
это
не для
меня
"пролетарии всех стран
соединяйтесь"
и это
не для
меня

насмотревшись
на поэтов
я решил что
дело
это
не сложнее
прочих
дел
я ведь пить
и есть
умел

каждому
воздаётся
по Вере
его
по Ире
его
по Боре
его

кто свалился с дерева
не знаю
коршун
ястреб
тетерев
сова
и исчез
в кустах
объединяя
эти
разнопёрые
слова.

стакан
лимон
зелёный
чай
изба
ковчег
любовь
ночлег
короткий
день
декабрь
январь
февраль
апрель

в центре Москвы
пишущая машинка
пишет историю
похожа на
        мавзолей
написала
        "Ленин"

старинная
        русская
                народная
                        песня
гимн
        Советского
                Союза

власть должна иметь
        отношение
к этике
по возможности
        к эстетике
и уж
        конечно
                к кузнечикам

главное
        пиши
                хорошую
                        поэзию
а про что...
тогда опять
        про
                портвейн
эйн цвей дрей
друг опять

еврей
три четыре пять
вышел
погулять
я с ним

по избе
носится
баба
то об угол
ударится
то уляжется
рядом

взорвать бы
прииски
и шахты
затопить
и прорастить
ячмень
овёс
и просо
взорвать Москву
и основать
лицей
фабричные
на это
смотрят
косо

едешь в электричке
пассажир
служишь в храме
священник

зарыл картошку
        картофелевод

в Рождество
        поближе к Богу
мы отправимся
        в полёт
весь в стеклярусе
        и бусах
наш последний
        самолёт
в полночь ровно
        хлопнут
        пробки
разбежится
        самолёт
мы на землю
        не вернёмся
стая ангелов
        нас
        ждёт

вы видели
        как кошки
                спят
они во сне
        хотят
                котят
они во сне
        мышат
                едят
так мирно
        спят

и женщины
с гладкой
причёской
и женщины
с пышными
волосами
готовы меняться
местами
и так происходит
годами

любимая
как хорошо
что ты
не хочешь
посидеть
в каком-нибудь
маленьком
ресторане
в Ассизи
когда сидишь со мной
в большом разрушенном
доме
с маленькой бутылкой
водки
и только размеры
бутылки
нам хочется
увеличить

Частная территория
Борис Кочейшвили
проезд запрещён
охота запрещена
соболезнования
не принимаются

я прощаюсь
с вами
до девятнадцати
часов
тридцати
пяти
минут

деревня Афанасово
13 декабря 1993 года
19 часов 30 минут

совершенно
не представляю
что будет
через год
через два
впрочем
через год
будет
тысяча девятьсот
девяносто
пятый
от Рождества
Христова
уж это-то
будет

Евгений СЛИВКИН

ДВА И ДЕСЯТЬ

Избежав ассирийского плена,
в Иудее у храмовых стен
с пеплом в пейсах сидят два колена
и гадают про десять колен!

Для монаршьего уха доносов
слаще весть, что сосед не силён —
и нагрянул Навуходоносор,
два колена увёл в Вавилон.

И в цепях вавилонского плена,
позабыв про египетский плен,
на коленях стоят два колена,
потерявшие десять колен.

То-то были им ладан и мирра!
Ни суббот, ни обрядовых игр.
Но персидская конница Кира
до Евфрата махнула за Тигр!

И беда отпустила мгновенно —
суверена сменил суверен...
И пошли по земле два колена,
не забывшие десять колен.

С пеплом в пейсах, по скулам катая
слёзы, слушали всякую весть:
в дебрях Африки, в кущах Китая
царство Бога единого есть.

Там со львами бок о бок ягнята...
И случилось, что счастье само
улыбнулось им — из каганата
аль-козар прилетело письмо.

Два в слезах возопили — Вот наше
царство, наш непреложный закон!
Мы нашли вас, Ашер и Менаше,
Дан, Иегуда, Гад и Шимон!

Но пока они тратили время
на молитвы, галдёж и базар,
молодое и грубое племя
опрокинуло в море козар.

И опять побрели нощно-денно,
не жалея локтей и колен,
меж народов чужих два колена,
чтоб сыскать ещё десять колен.

Эти два по земле опалённой
вечно шли, было б с кем по пути —
с Первой конной и с Пятой колонной —
по остывшим следам десяти.

На оси повернулся и замер
шар от многих на нём перемен,
и за стенами газовых камер
собрались все двенадцать колен.

Поздние петербуржцы. Поэтическая антология.
Сост. Виктором Топоровым при участии Максима Максимова.
Изд-во "Европейский дом". Санкт-Петербург, 1995

Илья ВОЙТОВЕЦКИЙ

* * *

Я хочу умереть в апреле,
хорошо бы в начале дня,
чтобы съехаться все успели
кто пойдёт провожать меня.

Не хочу умирать в субботу,
вот четверг — подходящий срок,
чтобы завтра не на работу —
можно вместе побыть часок.

Прошуршит ветерок весенний,
лунный круг заблестит в окне,
и устроят друзья веселье
в память добрую обо мне —

будто с ними я, будто здесь я,
слышен голос мой, слышен смех.
Я ж при этом из поднебесья
буду радоваться за всех.

Свой небесный бокал наполню
переливом апрельских звёзд.
Я люблю вас, я всех вас помню
и за вас подымаю тост.

В дальней роще польются трели.
Ангел в небе зажжёт звезду.
Это будет:
в четверг,
в апреле,
в неизвестно каком году.

14 октября 1995

БАКУ

Юре АРУСТАМОВУ — с любовью.

Откуда это имя — Каспий? —
Распластанное серебро
в оправе гор.
Не кровь и распри,
а благородство и добро.

Здесь трубы издавна дымили,
из скважин в море плыл мазут,
торговцы, все в поту и мыле,
чередовали пыл и зуд.
Базар пестрел под небом жарким.
Восток — на то он и Восток:
он не был испокон подарком,
но вызывал порой восторг.
Он по законам Магомета
в мечетях жил и в чайханах,
в гаремах, в банях.
И за это
благоволил к нему Аллах.

Мне чужды правила приличий
и нравы этих диких мест,
их мести родовой обычай
и умыкание невест.
Там юноши мужают рано,
живут подолгу старики,
а судят взмахом ятагана
или пожатием руки.
Как любят утончённо женщин!
Как держат скакуна в узде!
Там чести и греха не меньше,
но и не больше, чем везде.

Всё в этом городе, как прежде:
служивый и торговый люд
живёт в отчаянье, в надежде
и в тихом шелесте валют.
Всё в городе, как прежде, кроме...
Вспять обратив теченье лет,
я ощущаю привкус крови
(но —
в чьём минувшем крови нет!).
Я там бывал в иные сроки —
у моря и Кавказских гор.
Я не судья.
А эти строки —
раздумье,

но не приговор.
Нет, мне не безразлично, с чем я
пройду оставшиеся дни.

Храни нас, Бог, от всепрощенья.
Но — и от мести охрани.

29 марта 1996

От редакции:
Это стихотворение Ильи Войтовецкого — своеобразный поэтический ответ на стихотворение Юрия Арустамова "Баку". Публикуем и его.

Юрий АРУСТАМОВ

ПРОЩАНИЕ С БАКУ

Город первой любви и последних прощаний с друзьями,
тот, где чайки взмывали и падали вглубь якоря,
сам ушёл Атлантидой в закатное дымное пламя,
редко вспомнят о нём, полушёпотом зло говоря.

Лишь обрывки каких-то вестей, непонятное что-то:
там и жутко и скучно, короче, там н е х о р о ш о .
И Приморский бульвар превратился в гнилое болото,
и счастливые жабы блаженствуют под камышом.

Там, на стрелках часов — время чёрт-те которого века,
там по улицам бродят, надсадно и часто дыша,
люди-псы, поразившие некогда древнего грека,
и по новым охотам томится их злая душа.

Мы черту подвели, не унизится сердце обидой.
К чёрту все разговоры про корни, про близких, про дом!
Всё же что-то осталось, вот я и сравнил с Атлантидой
этот город, похожий на вырезанный Содом.

Наша жизнь до предела дошла, на последнем излёте, —
и всегда в ней добро отступало пред злом.
Я б вернулся т у д а . Только на боевом самолёте,
с термоядерной бомбой под каждым крылом.

1991

Марина АРОНЗОН

* * *

Фонари в ночи — гирляндами.
Царедворцами здесь тополя!
И скользящие тротуары
Приоделись в песцы, соболя.

Мостовые до блеска начищены.
Пробегая, в них смотрят машины:
"В этом городе Золушку ищем мы", —
Прошуршали болтливые шины.

Изогнулись мосты в поклоне.
вся в алмазах, граните вода.
Вон закинутые забыты
В созвездие Рыб невода!

Целый день я брожу по городу
Сторонюсь золотых карет
Всё ищу циферблат, которому
До двенадцати дела нет.

Пересорились ночью светила.
У Сатурна исчез венец.
Что я в городе этом забыла?
Я у сказки забыла конец.

* * *

Не спеши, постоим под дождём.
Под дождём подождём, подождём...
Пусть рисует дождик печальный
Слёзы встречи, слёзы прощанья.

Тихо время стекает с ресниц,
Истекает... бесформясь, как глина.
Как сберечь этот дар бытия?
В вспышке молнии —
слепок-картина...
Дождь и ночь; меня и тебя.

Андрей БОРИСОВ

ИРОЧКА ШОЙХЕТ ИЗУЧАЕТ КНИГУ "БЭРЭЙШИС"

"Одэм шмэйхлт, нэбм им
Лигт Хавэлэ зайн вайб,
Мит гроз ун блэтэр цугэдэкт
Дос йунгэ, шэйнэ лайб".

Ицик Мангер,
"Одэм из эйфэрэихтик"

Мы будем двигаться по старенькой системе,
Великой, словно бабушкина рыба.

Что мне с того, что педагогика ушла
В туман дешёвых, мёртвых спекуляций,
В невыносимое враньё, что раздают на семинарах
Девицы в возрасте с нечистой мутной кожей,
Ногами разными, горящими глазами,
В дурацких пиджаках. Без лифчиков. В штанах.
(Всё скрепочкою сколото изящной,
И маркером отмечены места

особой важности). Как чуждо это мне!
Как хочется ворваться в их притон
И медленно, со вкусом изувечить
Компьютер педагогики новейшей...
Но нужно делать дело! Решено:

Мы будем двигаться по старенькой системе,
Могучей, словно дедушкин жилет.

...Вот стол со стульями. Пожалуйста, садись.
Не жёстко ли? не надо ли подушку
Меж спинкою твоей и спинкой стула
Для большего удобства положить?
Начнём сначала, с *парши** "Бэрэйшит"...
Хотя, конечно, мне милей *ашкеназит***
И потому — возьмёмся за "Бэрэйшис".
Давай попробуем сегодня разобрать,
Что подлинно сокрыто в *пэйрэк гимл**** .
Итак, *Ганэйдн***** ... Сад, и он же парк,
Во всём похож на наш — трава, аллейки,
Деревья, озеро, удобные скамейки —
А неудобные, так можно ведь подушку
Всегда из дома в сумке принести
И положить для мягкого удобства.
Ганэйдн... Главное — чтоб в спинку не надуло...
Что дальше? Дальше возникают персонажи:
"Гуляет в парке девушка, дадим ей имя Хавэлэ,
А может быть и Ривэлэ, ведь этот всё равно —
Куда важней, что Хавэлэ, она же, впрочем, Ривэлэ,
Как отраженье в озере похожа на тебя.
А прямо возле озера дымок шашлычный стелется
И с длинными шампурами в уверенной руке
Стоит мужик в сандалиях за сорок восемь шекелей,
И жир бараний каплями сверкает в бороде."
Довольно фактов. Время толковать
Уже стучится в двери, властно, дерзко:

* Глава.
** Наречие европейских евреев.
*** Порядковый номер главы.
**** Райский сад

"Бери меня, — кричит мне время, — ну!"
И я беру; сейчас я истолкую,
Все *пшаты, драши, рэмэзы* и *соды*[*]
Швыряю я к твоим ногам, изволь!
Я убеждён, что не было в помине
Ни хитрых змей, ни мрачных крокодилов,
Ни демонов — когда трещали угли
В мангале под бараньим шашлыком;
И ангелов там не было игривых,
И этих пакостных девиц в стервозных брюках
И даже Самого. Одна лишь Хавэ
Была тогда в саду с корзиной яблок,
И тот мужик, который ел шашлык,
Там тоже был. И в этот самый миг
Случилось нечто, что нельзя назвать словами,
Поскольку беден наш язык, убог и мелок:
Совпали звёзды! Небо закричало!
Судьба рубашку разодрала на груди,
И обнажились тайны предстоящих
Печалей, радостей, восторгов и тоски...
А может, просто, он увидел меж деревьев
Как Хавэ завтракает: яблоки, вино...
Божественные плечи, царский пуп...
И пали шампуры из ослабевших рук
На землю Райскую. Дыханье участилось,
И колом в горле встал шашлык;
Он начал задыхаться, пучить очи,
Махать отчаянно обеими руками —
Он звал на помощь, но мы знаем, что в саду
Был только он и девушка с корзинкой,
Не просто девушка, но *тайерэ нешомэ*[**], —
Совсем как ты. Как ветер, как стрела
Примчалась Хавэлэ и стала энергично
Его спасать: нежнейшею рукой
Она *шлимазла*[***] била по спине
И мёдом с молоком благоухали
Её уста, и волосы, и кожа,

---

[*] Уровни понимания Торы.

[**] Дорогая Душа.

[***] Неудачник.

Которая не знала никогда
Стесняющих прикосновений ткани...
    Большое счастье и пронзительная боль
    Без спроса делают нас старше и умнее!
Так и они — очнувшись, огляделись,
Одежду сделали и быстренько оделись;
И вечер был, и сторож с колотушкой
К ним подошёл и указал на дверь.
    Теперь ты понимаешь, что на самом
    Случилось деле в парке в *пэйрэк гимл*?!
Мне радостно и, вместе с тем, мне грустно —
Поскольку настаёт пора прощаться...
Но верю я: когда-нибудь с тобой

Мы снова двинемся по старенькой системе
Необратимой, словно жизнь и словно смерть.

19 июня 1995

Александр МЕЖИРОВ

* * *

Без меня народ неполный...
А.ПЛАТОНОВ

За сто первою верстой,
Где живёт народ большой,
Там же проживает малый
Со своей большой виной.
Потому что он виновен,
Что греховен род людской.

Но один какой-то случай
В память врезался, запал.
Я его на всякий случай
По привычке записал —
Случай необыкновенный,

Хоть и вроде бы простой,
Что случился предвоенной
Незапамятной зимой, —
Как по улице Никитской
Снеги белые мели,
И к писателю коллеги
Сотрапезничать пришли,
Выпить водки, а не чая,
Закусить и покурить
И, крамолу исключая,
Обо всем поговорить.
И, сердца друг другу тронув,
Уронить слезу на стол,
И меж них Андрей Платонов
Тоже ужинать пришёл.

Под венецианской люстрой
Стол по-зимнему накрыт,
Всяческие разносолы
Возбуждают аппетит,
Туго скатерть накрахмалена,
И Кустодиев, Шагал
На стене заместо Сталина...
Только кто-то вдруг сказал,
К сотрапезникам добрея:
"Всё же приятно, что меж нас
Нет ни одного еврея".
И никто ему в ответ
Не сказал ни да, ни нет.

Только встал Андрей Платонов,
Посмотрел куда-то в пол
И, не поднимая взгляда,
К двери медленно пошёл,
А потом остановился
И, помедлив у дверей,
Медленно сказал коллегам:
"До свиданья. Я еврей".

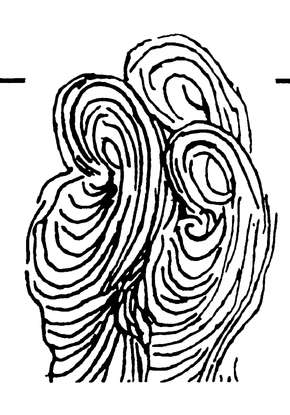
Воротить его хотели,
Но истаял он в метели,

И не вышло ничего.
Сквозь погоду-непогоду
Медленно ушёл к народу,
Что неполон без него.

Даже если этот случай
Не переживёт века,
Подноготную любую
Обнажит наверняка,
Потому что правдой жизни
Правит правда языка.

Даже если в этот случай
Не поверил, всё равно
Горностаевый, блескучий
Снег летит в моё окно,
Вся в снегу моя сторожка,
Ветром родины клубим,
Снег летит в моё окошко.
Выбитое мной самим.

Из цикла "Позёмка" ("Литературная газета", 1996, № 17).



ЦИФРЫ. ДАТЫ. ИМЕНА.

САМИ О СЕБЕ

"Самое большое искушение в моей жизни, единственное, против которого мне очень трудно бороться, — полностью стать евреем. Библия, на какой бы странице я её не открыл, потрясает меня. Я бы с удовольствием носил имя Ноя или Авраама, хотя моё собственное имя наполняет меня гордостью. Почему создатель Псалмов так же ненавидит смерть, как и я? Я относился с пренебрежением к своим друзьям, когда они отвернулись от соблазнов других народов и стали евреями, только евреями. Но как трудно мне сейчас не последовать за ними!"

Элиас КАНЕТТИ (1905-1994) — австрийский писатель

"В Советском Союзе мы всегда чувствовали, что мы — не самые любимые дети в семье народов. И в 1944-м, когда маршал Жуков прямо на поле боя прикрепил к моей гимнастёрке Звезду Героя, я был особенно горд тем, что я, еврей, получаю высшую награду родины. Но я не представлял себе, как много героев среди российских евреев".

Евсей ВАЙНРУБ (р. 1910) — солдат

"Излишне говорить, что я родился в бедной еврейской семье, но это очень уж хорошее начало".

Игорь ГУБЕРМАН (р. 1936) — писатель

"Наша семья всегда была по-настоящему еврейской. И мы по сей день остаёмся верными иудаизму — каждый по-своему. Мои дети учатся в еврейской школе, им очень хорошо известно, что они — евреи и что они — Ротшильды. Они знают, что в нашей семье есть традиции, которые несут на себе печать веков".

Эрик де РОТШИЛЬД (р. 1940) — французский банкир

"Я уверен, что в будущем люди будут жить в космосе. Даже на Юпитере. А так как я хочу, чтобы и через сто лет евреи на Юпитере сохранили свою веру и традиции, то и делаю для этого всё, что в моих силах. Каждый раз, летая в космос, я беру с собой святые для евреев предметы: мезузу, семисвечник, талит".

Джефри ГОФМАН (р. 1945) — американский астронавт

ИСТОРИЯ АРМЯН. ДАТЫ.

572 В Константинополе образована армянская церковная община.

1390 Первое упоминание о поселившихся в Москве армянах.

1393 В Париже умер последний армянский царь — Левон VI Лузинян. "В церкви целестинов много картин и памятников, между прочим монумент Леона, царя армянского, который, будучи выгнан из земли своей турками, умер в Париже в 1393 году" (Н.Карамзин. Письма русского путешественника).

1514	"Акоп Мегапарт открыл в 1514 году типографию (в Венеции — ред.) и издал первую печатную книгу на армянском языке, в этот же период Антон Сурян, Антон-Армянин, строил морские суда. Дважды его изобретения спасали Венецию, в первый раз — с помощью фрегата, чьи пушки, установленные по всей ширине судна, определили победу в битве при Лепанто; во второй раз — с помощью спасательного судна, которое очистило лагуну от веками копившихся здесь останков погибших кораблей". (Ф.Марсден. Перекрёсток. Путешествие среди армян. М. 1995)
1701	Встреча в Москве армянского общественного деятеля и дипломата Исраэла Ори (1658-1711) с Петром I, во время которой обсуждался план освобождения Армении.
1711, 2 марта	Опубликован Сенатский указ "О умножении и облегчении армянскому торгу", в котором, в частности, сказано: "Армян, как возможно, приласкать и облегчить им участь, в чём пристойно, дабы тем подать охоту для большего их приезда".
1904	"В 1904 году первый из армянский коньяков — "Отборный", произведённый на заводе Шустова — "поставщика двора Его Императорского Величества" — получил высшую награду "Гран при" во Франции." (Г.Матевосян — "Независимая газета" , 5 июня 1995)
1996, 9 марта	Гроссмейстер Юрий Арустамов во второй раз стал чемпионом Израиля по т. наз. "бразильским шашкам". До приезда в Израиль он был чемпионом Азербайджана, Казахстана, СССР по русским шашкам.
1996, 12-15 марта	"Дни армянской культуры" в Женеве; они прошли под девизом "1896-1996 — век швейцарско-армянской дружбы".
1996, 23 марта	В музее Добре (Нант, Франция) открылась выставка "Армения с древнейших времён до IV века". Более трёхсот экспонатов впервые явили в такой полноте искусство языческой Армении.

1996, 25-26 марта	Визит в Армению Иона Илинеску. Президент Румынии встретился с президентом Армении Левоном Тер-Петросяном, выступил в Национальном собрании, совершил поездку в Эчмиадзин, где его принял католикос Гарегин I. Напомним, что Румыния стала первой страной, признавшей независимую Армению в 1991 г.
1996, 24 марта — 7 апреля	В грандиозном телемарафоне "Степанакерт — Ереван — Лос-Анджелес", организованном общенациональным фондом "Айастан", приняли участие около 100.000 армян из 20 стран. На счёт фонда собрано более 5,5 млн. долл. Американский предприниматель, самый богатый армянин в мире Кирк Киркорян выразил желание удвоить эту сумму.
1996, март	На парламентских выборах в Исламской республике Иран в своих округах одержали победу и стали депутатами Вартан Вартанян и Артавазд Багумян.
1996, 9 апреля	В Брюсселе, в штаб-квартире НАТО этой организации был передан Представительский Документ Республики Армения по программе "Партнёрство во имя мира". Армянскую делегацию, которую возглавлял заместитель министра иностранных дел Эдуард Зулоян, принял заместитель Генерального секретаря НАТО по политическим вопросам Герхард фон Мольтке.
1996, 3 июня	Президенты Борис Ельцин (Россия), Левон Тер-Петросян (Армения), Гейдар Алиев (Азербайджан), Эдуард Шеварднадзе (Грузия) подписали в Кисловодске декларацию "За межнациональное согласие, мир, экономическое и культурное сотрудничество на Кавказе".
1996, 4 июня	В Тбилиси прибыл президент Армении Левон Тер-Петросян. По словам президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе, визит главы Армении "внесёт вклад в дело установления мира на Кавказе, в реализацию положений декларации, подписанной 3 июня в Кисловодске".

ИСТОРИЯ ЕВРЕЕВ. ДАТЫ.

1909 — В Санкт-Петербурге вышел первый номер "Еврейской старины" под ред. Семёна Дубнова. Последний номер журнала вышел в 1930 г.

1918, весна — Еврейские погромы в Коканде. Убито 300 бухарских евреев.

1919, апрель — По приказу Мадамин-бека и Курширмата, возглавлявших отряды басмачей, в Намангане зарезаны более 200 бухарских евреев.

1932 — Предприниматель из Вильнюса Исраэль Лихтенштейн (1874-1949) организовал первый в Израиле завод по производству гвоздей.

1950 — Мирьям Адар стала первой королевой красоты Израиля.

1957, март — В Иерусалиме тремя евреями убит Исраэль Кастнер (р. 1906). В годы войны он возглавлял операцию по спасению евреев Венгрии. В рамках договорённости "товары за кровь" он встречался с нацистами, в т.ч. с А.Эйхманом. В результате переговоров было спасено 1686 евреев из концлагеря Берген-Бальзен. После войны Кастнер жил в Израиле. В 1953 журналист М.Гринвельд обвинил его в сотрудничестве с нацистами. Кастнер обратился в суд, но суд оправдал журналиста. Только после убийства Кастнера суд признал Гринвельда виновным в клевете. История жизни Кастнера послужила сюжетом для романа Р.Ст.Джона "Человек, который хотел быть Богом" (1962).

1959, 25 декабря — На Рождество стены синагоги в Кёльне были осквернены свастикой. До конца января 1960 г. в ФРГ были отмечены 470 антиеврейских инцидента. Бундестаг был созван для особого заседания по этому поводу, и канцлер Аденауэр потребовал узаконить порку розгами "тех, кто малюет свастики".

1969	В Израиле издана поэма Шота Руставели "Витязь в тигровой шкуре", блестяще переведённая на иврит Борисом Гапоновым (1934-1972).
1981, 7 июня	Бомбовый налёт израильской авиации на иракский атомный реактор и центр ядерных исследований под Багдадом.
1986, 13 апреля	Иоанн Павел II впервые в истории римских пап переступил порог синагоги в Риме.
1992, 22 мая	Израильтянин Амит Анбар стал абсолютным чемпионом Европы по виндсерфингу.
1992	В Москве образовано "Еврейское генеалогическое общество".
1994, 12 февраля	Открытие XVII зимних Олимпийских Игр в Лиллехаммере (Норвегия). Первым израильским спортсменом, выступившим на зимней олимпиаде, стал фигурист Михаил Шмеркин (р. 1970) — он занял 16-е место.
1995, 1 сентября	Впервые после 1934 г. в Берлине открыта еврейская школа, которой присвоено имя покойного главы Центрального совета еврейских общин Германии Хайнца Галинского. В ней будут учиться 218 детей. Строительство здания обошлось сенату города в 43 млн. марок. На торжественном открытии школы присутствовал президент Германии Роман Герцог, главный бургомистр Берлина Эбергард Дипген и др. официальные лица.
1995, сентябрь	Преподаватель Еврейского университета в Иерусалиме д-р Иосиф Гури (р. 1932) награждён золотой медалью им. Пушкина. Эта награда, присуждаемая Международной ассоциацией преподавателей русского языка и литературы за заслуги в распространении и изучении русского языка, впервые вручена израильтянину.

1995, сентябрь	Первая книга о Катастрофе европейского еврейства издана в Китае. Это исследование провёл писатель Янг Мензу при помощи и поддержке музея "Яд ва-Шем".
1996, 17 марта	В Иерусалиме собралось 14 самых известных поваров из Франции, Швейцарии, США, Италии, Бельгии и ЮАР, чтобы попробовать и оценить кошерные блюда, приготовленные каждым из них.
1996, 27 марта	Правительство Израиля приняло решение считать День Победы над нацистской Германией (8 мая) общенациональным праздником.
1996, 3 апреля	В Детройте (США) умер Ирвин Абрамсон (р. 1914). Всю жизнь он жил как нищий, питаясь бесплатными завтраками в синагоге, не потратившись за последние двадцать пять лет даже на шнурки для ботинок. После смерти Абрамсона следователи обнаружили в комнате, где он жил, заплесневевшие продукты, грязное бельё и документы, свидетельствующие, что Абрамсон был миллионером. По предварительным оценкам, его ежегодный доход составлял 300.000 долларов. Всё своё состояние этот бедняк-богач завещал дому сирот в Израиле, йешиве в пригороде Детройта и раввинатскому семинару в Нью-Йорке.
1996, 15 апреля	Одну из улиц в Яффо украсила мемориальная доска: "Эта улица названа в честь величайшего поэта России Александра Пушкина (1799-1837)".
1996, 2 мая	В военном суде в Яффо начался процесс над двумя солдатами, которых обвинили в том, что они убили нескольких аистов, живших на территории их базы. Это первый в истории Израиля суд, когда военнослужащие обвиняются в издевательстве над животными. Максимальное наказание, предусмотренное за такие преступления, составляет 3 года лишения свободы.

1996, 12 мая	Новый репатриант из Украины Константин Матусевич установил на стадионе в Адар-Йосефе рекорд Израиля в прыжках в высоту, показав результат 229 см. На этих же соревнованиях Константин Семёнов (репатриант из Узбекистана) взял 565 см в прыжках с шестом.
1996, 13 мая	Четверо израильтян ранены (один из них, Давид Бойм, скончался) палестинскими террористами, обстрелявшими автобус с поселенцами в районе посёлка Бейт-Эль.
1996, 16 мая	С космодрома Куру (Франц. Гвиана) произведён запуск первого израильского спутника связи "Амос", его длина — 2 м, ширина — 1,6 м, вес — 996 кг.
1996, 17 мая	Первым израильтянином, родившимся на территории Иорданского Королевства, стал Даниэль Харэль — сын аккредитованного в Аммане израильского дипломата Зеэва Харэля и его жены Авиталь.
1996, 29 мая	Первые в истории Израиля всенародные выборы главы правительства, принесли победу лидеру блока "Ликуд" Биньямину Нетаньяху (р. 1949), главному сопернику 72-летнего Шимона Переса. На этих же выборах мощно заявила о себе "русская" партия "Исраэль ба-Алия", возглавляемая Натаном Щаранским (р. 1948), завоевавшая 7 депутатских мандатов в 120-местном парламенте.
1996, май	Министерство здравоохранения Израиля сообщило, что 85 израильтян больны СПИДом (первый больной был диагностирован в январе 1982 г.), а 1405 человек являются носителями вируса.
1996, май	30 фильмов участвовали в кинофестивале "Еврейская жизнь в кино", который прошёл в Монреале (Канада).
1996, 25 мая — 11 июня	Израиль отмечал 3000-летие Иерусалима.

1996, 18 июня — В Иерусалиме состоялась церемония приведения к присяге нового правительства, сформированного 46-летним Биньямином Нетаньяху, ставшим самым молодым главой правительства за всю историю Государства Израиль, родившимся уже после его провозглашения.

Партия "Исраэль ба-Алия" получила в новом правительстве два министерских портфеля: Натан Щаранский возглавил министерство промышленности и торговли, а Юлий Эдельштейн стал министром абсорбции.

Сергей ЛЁЗОВ

ДВА ЭТЮДА НА ЕВРЕЙСКИЕ ТЕМЫ

Вниманию читателя предлагаются две аналитические заметки, которые возникли как доклады, прочитанные, соответственно, в иерусалимском Общинном доме репатриантов из России (ноябрь 1995 г). и на семинаре Центра по изучению антисемитизма Еврейского университета в Иерусалиме (январь 1996 г.). Они объединены общностью метода и, естественно, позицией автора.

I. МИФ О КАТАСТРОФЕ: ГИТЛЕРОВСКИЙ ГЕНОЦИД И ЕВРЕЙСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ.

Меня интересует осмысление геноцида в разных еврейских сообществах и за их пределами.

Как известно, Катастрофа была крупнейшим массовым уничтожением евреев, история которых богата такими событиями. Достаточно вспомнить Великое восстание 66-73 гг. или резню Богдана Хмельницкого.

Здесь я не рассматриваю израильскую ситуацию и обращаюсь к опыту крупнейшей общины диаспоры, к опыту американского еврейства. При этом я не привлекаю обширную социологическую литературу вопроса, а основываюсь исключительно на собственных наблюдениях. В интеллектуальной жизни общин диаспоры можно выделить национальный и религиозный полюса. Осмысление геноцида происходило в поле напряжения между ними. Это замечание не самоочевидно. Для сравнения вспомним уничтожение черкесов в XIX в., историю чеченцев в XIX — XX вв. или геноцид американских индейцев, а также геноцид армян в Османской империи. Мы либо мало знаем об осмыслении этих событий, либо знаем, что система координат была другой. Забегая вперед, скажу, что и для нынешней армянской идентичности геноцид 1915 г. оказался конституирующим событием. Тут есть типологические сходства с еврейской самоидентификацией после Шоа, но есть и различия.

Я не буду подробно рассматривать осмысление Катастрофы, исходящее из чисто "национального" понимания того, "что такое еврей". Замечу лишь, что это осмысление связано со светским сионизмом, для которого антисемитизм в некотором смысле заместил Бога традицион-

ной религии. Для светского сионизма (особенно в его формативную эпоху) юдофобия столь же вечна, неизменна и вездесуща, как Бог вечен, неизменен и вездесущ для еврейской религиозной традиции.

Итак, я буду говорить о религиозном осмыслении Катастрофы. Первый подход: наказание евреев за их грехи (например, у некоторых ортодоксальных писателей в США). Это объяснение оказалось неприемлемым для многих. Столь "легкое" отношение к страданиям и гибели (в частности, детей) казалось циничным. Но допустить бессмысленность происшедшего и тем самым вообще отказаться от теологической системы координат было еще труднее. Хотелось смысла. У американских евреев сознание вины (не всегда формулируемое или адекватно выражаемое), — тоже мешало допустить бессмысленность. (Как известно, американские евреи чувствовали, что в годы войны они мало сделали для помощи европейскому еврейству.) Так стало возникать религиозно и мифологически окрашенное понимание Катастрофы — то, что я буду называть еврейским мифом о катастрофе.

Чтобы прояснить, что имеется в виду, я упомяну (отчасти по контрасту) сионистское осмысление геноцида (один из вариантов "национального"). В общем виде оно весьма простое: "Мы бы не позволили, чтобы нас уничтожали как скот". Парашютисты в Европе как символическое действие ишува (не только как практическая помощь). Катастрофа не ставила под вопрос сионистскую идентичность в том смысле, в каком Катастрофа была проблематичной для религиозной идентичности.

Итак, религиозное осмысление создавало миф о Катастрофе, сразу же скажу — изоморфный еврейскому религиозному мифу.

Поясню, в каком смысле я использую слово "*миф*". "*Мифом*" будем называть социально значимое верование (или "*знание*" в смысле социологии знания), позволяющее включенному в некое сообщество человеку осмыслить свою жизнь. Другими словами, миф "нужен" для того, чтобы человек мог обрести себя и свой мир. Если принять такое понятие мифа, то он не обладает истинностным значением: миф не может быть истинным или ложным, его нельзя доказать или опровергнуть. Миф "предписывает" человеку нормы и ценности, его главная характеристика — "действенность". Если миф оказывается не в состоянии интегрировать сообщество и предложить его членам смысл жизни, то он просто утрачивает свою социальную функцию. Тогда его заменяет другой миф. Стало быть, миф может содержать — в нерасчлененном виде — религиозные, философские, правовые и моральные компоненты. Миф формирует образ мышления и действия человека как в сакральной, так и в профанной сфере.

Приведу простой пример мифа в моем понимании. 30 августа — 1 сентября 1995 г. в поселении Неве-Илан около Иерусалима состоялся организованный израильскими левыми политическими организациями семинар для репатриантов из России, большая часть участников которого в бытность свою на "доисторической родине" принадлежала к гуманитарной интеллигенции. Тема семинара: еврейско-арабские отношения, то есть самый жгучий вопрос политической жизни Израиля. Я был гостем этого семинара. В тексте приглашения на семинар и затем в качестве смысловой рамки для дискуссии на одном из заседаний был предложен миф о русской интеллигенции, о ее противостоянии коммунизму, о культивируемых ею гуманистических ценностях, о свойственном русской интеллигенции отрицательном отношении к насилию, о евреях как важной части русской интеллигенции в советский период и т.д. Это была простая отсылка к (как я сказал) "социально значимому верованию/знанию", предположительно разделяемому по крайней мере некоторыми из участников семинара. В той мере, в какой эта отсылка не срабатывала, предложенная организаторами семинара смыслообразующая конструкция ("миф") оказывалась нефункциональной и вместо нее некоторые из выступавших предлагали другие каркасы смысла — доверчивые и интеллигентные евреи против безродных, жестоких и хитрых арабов, набежавших откуда-то на нашу израильскую землю.

Нельзя сказать, что́ более верно: что русская интеллигенция — носительница высоких идеалов или что с арабами можно говорить только на доступном им языке силы. Слепая прихоть истории столкнула эти мифы и сделала их конкурирующими в сознании бывших советских, а теперь израильских интеллигентов, собравшихся в гостинице киббуца под Иерусалимом. Я думаю, что вопрос об истинности мифа не важен уже потому, что смыслообразующие конструкции массового сознания (например, религия) вполне могут существовать без опоры на реальность. Они не предполагают фальсификации/верификации посредством фактов и экспериментов.

Теперь я перехожу к содержанию (квази) религиозного мифа о Катастрофе. Миф о Катастрофе — секуляризация еврейского мифа. Инвариантом оказывается теологическое представление об избранности еврейского народа, о его исключительности. Возьмем американское еврейство. Сила общины — в хорошем политическом представительстве и в том, что после войны в Америке антисемитизм перестал быть сколько-нибудь заметной политической силой. Слабость этой общины — в угрозе ассимиляции и утраты идентичности. Согласно известной метафоре, евреи в Америке стали "куском сахара в теплой воде".

Тут возникает сопряжение темы Катастрофы и темы идентичности, острой для американской еврейской общины. И это интересно для моего подхода в частности потому, что Катастрофа не затронула американское еврейство непосредственно. Тут чистый случай мифотворчества. Юдофилия становится модой в большом американском сообществе, в частности в либеральных протестантских конгрегациях. Так, посредственный в художественном отношении фильм "Список Шиндлера" получил — в духе political correctness — высшие кинематографические премии. Сейчас у некоторых протестантских общин существует христианская литургия Йом-Киппура.

Всё это, вероятно, связано с конкретными политическими интересами. Американское еврейство пыталось, но не сумело построить свою идентичность "вокруг" Израиля. Не сумело в частности потому, что безусловная поддержка любой израильской политики, какой бы она ни была, оказалась в американских условиях невозможной, а "критическая солидарность" не годится в качестве стержня для массовой самоидентификации. Так в начале восьмидесятых годов Катастрофа стала становиться центром публичной самоидентификации.

Можно предположить, что теологическое осмысление Катастрофы сегодня уже сформировало идентичность американской еврейской общины.

В самом деле, в сознании американского еврейства и части большого общества Катастрофа стала внеисторическим, космическим событием.

Доминирует идея уникальности. Тема Катастрофы стала секулярным аналогом еврейского религиозного мифа об основании. Иногда кажется, что Катастрофа в религиозном (или точнее, в квазирелигиозном) сознании заместила представление о даровании Торы на Синае, — то есть стала центральным событием в секулярном варианте еврейского мифа. Мне знакомы тексты пасхального седера, в которых присутствуют мотивы Катастрофы. Уникальность функционально соответствует теологической и мифологической идее об избранности евреев и об уникальности еврейского Бога.

Здесь имеет смысл сравнить еврейский миф с армянским, — просто чтобы дать себе материал для обдумывания темы уникальности. Известные армянофильские параллели между евреями и армянами не имеются здесь в виду, — я думаю, что сходство между евреями и армянами в Новое время не большее, чем между одним из этих народов и некоторыми другими небольшими народами на окраинах западной цивилизации.

Ключевой символ армянского мифа — "цивилизованность". За этим словом-шифром стоит представление об армянстве как о древнем народе с трехтысячелетней историей, о наследнике настоящей античной культуры, распространяющем ее цивилизующее влияние на другие народы. Я думаю, что концепция "цивилизованности", резко выделяющей армян из среды окружающих народов, функционально подобна концепции избранности народа единым Богом, которая находится в центре еврейского мифа.

Второй важнейший элемент армянского мифа — представление об армянах как о "христианском" народе, форпосте христианского мира на Востоке (релевантен здесь тоже элемент исключительности).

С этими двумя элементами мифа связан третий — самопонимание армян как "вечной беззащитной жертвы" в руках нецивилизованных иноверцев и как народа, преданного Западом во имя ложно понятых политических интересов. Армянский народ обречен на невинные страдания. В армянской истории заключен некий урок, который человечество не хочет усвоить. — Именно эти представления дали возможность азербайджанскому писателю Анару говорить об "армянском мазохизме", о свойственном армянам культе страдания.

Этот миф окончательно оформился в советской Армении за последние 30 лет, где он сейчас даже более действен, чем в армянской диаспоре. В 60-е годы советские армяне добились права отмечать день памяти жертв геноцида — 24 апреля (мемориал на Цицернакаберде), с тех же пор в Армении появляется обширная литература о геноциде. Образ непризнанного и замолчанного миром злодеяния решающим образом повлиял на армянское культурное сознание и тем самым— на армянскую самоидентификацию: рядом с культом страдания возникает культ бесстрашного и непобедимого героя-федаина, борца с турками.

Возвращаюсь к нашей теме: не то чтобы классический еврейский миф стал полностью непонятным и чуждым, но он нуждается в актуализации, в подновлении. Инвариант мифа — опыт, сознание и переживание исключительности, и именно это актуализируется. А сегодняшнему читателю отождествить себя с теми, кто шел в газовые камеры, легче, чем с персонажами классического мифа. Опять же учтем условия диаспоры, в которых опыт "они и мы" дан еврею с самого начала, а этот опыт тоже тематизируется в переживании Катастрофы. Понятно, что при поисках идентичности деление на своих и чужих очень важно, а здесь оно вполне естественно, так как только евреев уничтожали по чисто расовому признаку.

Поясню, как в Америке понимается уникальность Катастрофы. Считается неправильным, бестактным и даже чуть ли не антисемитским

сравнивать Катастрофу с другими случаями геноцида, сравнивать — в смысле ставить ее в один ряд с ними, вводить ее внутрь истории. Когда я слышал обсуждения этой темы в Америке, то мне даже казалось, что люди (в данном случае, евреи) испытывают по этому поводу какую-то особую гордость. Вероятно, это своеобразная актуализация представления о еврейской уникальности. Известный еврейский теолог Эмиль Факенхайм теоретически оформил это представление в нескольких книгах и множестве статей. Он прямо доказывал "уникальность", даже по пунктам, пытаясь рационализировать это представление. Творчество Эли Визеля тоже понималось в этом смысле.

Либеральные христиане в Америке и, естественно, в Германии, тоже поддержали эти идеи. И это понятно, так как и здесь речь идет о теологическом осмыслении истории, в ходе которого возникает вопрос о вине христиан вообще перед евреями вообще. Но тем самым смазывается тот факт, что вопрос о вине и ответственности по своей природе всегда конкретен. Правопорядок секулярных обществ обычно избегает установления коллективной ответственности за конкретные злодеяния, и уж тем более не принято считать людей ответственными за преступления их предков.

Мой вывод сводится к следующему: классические модели интерпретации (теология) и их секуляризованные варианты не приближают нас к пониманию истории и политики, "не работают", но в некоторых случаях (Америка) способствуют интеграции сообщества. Именно такова их нынешняя функция.

II. "ЕВРЕЙСКИЙ ВОПРОС" В РУССКОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ (1985-1995).

Меня интересует публично значимый образ евреев в русской культуре (в частности, в политике) последнего десятилетия.

Что было известно около 1985 г. об отношении русской публики к евреям? Возможность публичного выражения была тогда ограничена, поэтому правильно будет сказать: публично значимой позиции по "еврейскому вопросу" просто не существовало. Была юдофобия черни, была дискриминация евреев, была демонизация сионизма как разновидности расизма или как заговора с целью захвата господства над миром, было несуществование еврейской культуры, был интерьеризированный антисемитизм интеллигенции еврейского происхождения. Быть

может, существенным элементом в публичном или квазипубличном образе "еврейского" было знание о существовании "израильского канала": почти всем людям (прежде всего из числа политических оппозиционеров), которым власти предлагали эмиграцию, нужно было обзаводиться фиктивными приглашениями — якобы от родственников в Израиле.

Зарубежная (эмигрантская и израильская русская) пресса воспроизводили те идейные блоки по "еврейскому вопросу", что уже сложились в первые десятилетия нашего века. То же самое происходило в русском подполье. Я помню, как в начале восьмидесятых годов в самиздате мне попадались копии "Протоколов сионских мудрецов" в книгах Сергея Нилуса.

Общим местом в подпольных разговорах и в либеральной эмигрантской публицистике было представление о том, что будущий крах коммунизма приведет к беспорядкам, среди которых будут и еврейские погромы, а в результате крушения коммунизма к власти придут русские националисты. Соответственно, в невидимых миру кругах национально мыслящей интеллигенции поддерживалась идея о еврейском характере большевизма, о вине евреев перед русским народом и т.д. Назову для примера самиздатский журнал Вл.Осипова "Вече" (начало-середина семидесятых), а в начале восьмидесятых — православно-шовинистическую публицистику Геннадия Шиманова.

Оттепель второй половины 80-х гг. и началась с реанимации или выхода на поверхность этих старых содержаний. Однако им не была суждена новая жизнь, а деятелям подпольного контрмира — новые публичные роли. И вообще — новое время потребовало новых героев, эмигрантский и подпольный "альтернативный" истэблишмент оказались по большей части не у дел.

Накануне дезинтеграции коммунизма и в официальной советской идеологии "еврейский вопрос" находился в центре внимания. Об этом свидетельствует наличие в СССР организованного антисионистского истэблишмента, в частности отделов по изучению Израиля в разных академических и неакадемических заведениях, бытие Антисионистского комитета советской общественности (АКСО), непропорциональное стратегическому или какому бы то ни было значению Израиля количество антисионистских публикаций и пр. Причины этого ясны. С позднесталинских лет евреи были чем-то вроде потенциального внутреннего врага, представителями американского империализма, то есть слугами дьявола советской мифологии. Здесь советская и русская националистическая мифологии обретали общий элемент. Обе они содержали теорию заговора, в рамках которой было место для евреев. Итак, и для офици-

альной советской и для националистической мысли "еврейский вопрос" имел метафический смысл, то есть не сводился просто к отношению к евреям как одному из национальных меньшинств.

Такая ситуация сохранялась в идеологии и в первые годы перестройки, пока еще держались старые критерии оценок. Публичное проявление общества "Память" с его понятием "сионизма" в смысле "Протоколов" и мирового еврейского заговора привлекло весной 1987 г. всеобщее внимание, никак не соответствовавшее реальному политическому весу этой группы. Однако пока сохранялась преемственность официальной идеологии (в виде горбачевского социалистического выбора), сохранялся и официальный антисионизм, даже вопреки тому, что сами власти считали своими реальными интересами: ср. проблему восстановления дипломатических отношений с Израилем. Правда, под конец своего существования АКСО публиковал контрпропаганду, вышедшую из-под пера Иосифа Флавия — In Apionem. В марте 1988 г. я участвовал в обсуждении темы "антисионизм/антисемитизм в официальных массмедиа", которое было организовано отделом межнациональных отношений ЦК КПСС, и там я предложил дедемонизировать сионизм и считать его просто еврейским национальным движением, но это мое предложение не встретило понимания и явно оказалось преждевременным.

После очень короткого бессодержательного переходного периода (вторая половина 1990 — первая половина 1991 г.) прежняя идеология была просто заменена на антикоммунистическую, американский империализм стал нашем лучшим другом, в прессе началась массированная проамериканская пропаганда, и политический антисионизм как коррелят антиамериканизма ("сионизм — передовой отряд империализма") тем самым просто утратил смысл.

Ожидавшийся по мере ослабления коммунистической власти всплеск антиеврейского насилия (вроде того, что был в годы гражданской войны) не состоялся. Среди более-менее организованных еврейских кругов в Москве дважды (в 1988 и в 1990 гг.) распространялись сведения о близких погромах. Насколько я знаю, в большом обществе об этом почти ничего не было известно. Почему не было погромов? Я думаю, объяснение этого очевидно. Евреи в России и всем бывшем СССР уже давно не существуют или почти не существуют как национально или религиозно определенная группа со своими интересами, которые могут сталкиваться с интересами других групп. Мы видели, что по мере распада советской власти актуализировались и привели к насилию и кровопролитию все потенциально существовавшие национальные конфликты, вызвавшие затяжные война на окраинах, изгнание со-

тен тысяч людей из родных мест, разрушение городов на Северном Кавказе и в Закавказье. Еврейский же вопрос в СССР существовал главным образом в сфере идеологии. Грубо говоря: *на самом деле евреи никому не мешали, только раньше это не было известно.*

Выяснилось, что помимо прежней официальной антизападнической идеологии, как она сложилась с позднесталинских времен, для антисионизма уже нет серьезных оснований, и вместе с ним рухнула и система квазиофициальной дискриминации в публичной сфере. Одновременно и "еврейский вопрос" стал утрачивать свой прежний метафизический смысл для русской политической культуры. Антисемитизм перестал быть универсальной школой зла (так его назвал один современный русский писатель). Но не потому, что антисемитизм в России уменьшился (это вопрос конкретного исследования, и к моей теме он прямо не относится). Кажется, Фейхтвангер называл антисемитизм международным языком фашизма. И дело в том, что в России "фашизм" (агрессивный национализм с тоталитарными наклонностями) стал вырабатывать другой язык, более отвечающий требованиям момента. Существенно и то, что национализм и империализм в последние десять лет перестали быть языком власти. Укажу на изменения в языке фашизма: сравнительно с советскими временами усилился элемент популистской демагогии, появились новые, более легко распознаваемые образы врага: "демократы", "новые русские", "черные" и т.д. Серьезных попыток отождествить демократов или нуворишей с евреями почти не предпринималось, так как для адресатов фашистской и коммунистической пропаганды такое отождествление едва ли правдоподобно. Во всяком случае, стало труднее (менее правдоподобно с точки зрения нужд агитации) отводить роль "внутреннего врага" евреям. Прямо расистская юдофобская пропаганда газет вроде "Русского Воскресения" остается скорее маргинальным явлением.

Эта ситуация отличается от хорошо известных нам параллельных случаев: Россия начала века или Германия между войнами. Для националистов и коммунистов "Запад", естественно, остался врагом, но евреи уже в гораздо меньшей степени ассоциируются с Западом. В итоге произошла, на мой взгляд, "нормализация" еврейского вопроса. Евреи официально признаны просто одним из народов Российской Федерации. Возникла сеть дневных и воскресных еврейских школ, в том числе одна государственная школа в Москве. Высшие государственные чиновники поздравляют евреев с их праздниками. Выезд, прежде всего в Израиль, стал рутинным делом. Созданы всякого рода еврейские организации. Здесь я не говорю о перспективах еврейской общины в России, это совершенно отдельный вопрос. Важно лишь то, что общество ведет

себя так, будто эта община уже существует как одно из национальных меньшинств. Еще пример: в апреле 1992 г. у нас впервые публично отмечали День памяти Катастрофы и Героизма европейского еврейства, и с тех пор отмечают его ежегодно. По этому поводу бывают публикации в центральной печати, собрания общественности и пр.

Итак, каков образ еврея и еврейства в сегодняшней русской культуре (опять же включая политику)?

1. В обыденном сознании, судя по опросам общественного мнения, прежние антисемитские стереотипы русской культуры присутствуют, но постепенно ослабевают. Так, евреи отодвигаются назад в списке ненавидимых народов. Об этом свидетельствуют, например, опросы ВЦИОМа под руководством Льва Гудкова и Бориса Дубина. Подобные опросы проводились не раз, разными исследователями, по инициативе разных заказчиков, по разным методикам, и их результаты хорошо известны.

2. В интеллигентском сознании, как оно отражается, например, в публицистике, еврейский вопрос сохраняет в некоторой степени сверхценность в том смысле, что быть евреем то ли хорошо, то ли плохо. "Еврей" остается нравственной категорией.

3. В политике. Образа "еврея" в политике вообще нет. Интересно, что Григорию Явлинскому и Владимиру Жириновскому их отчасти еврейское происхождение не мешает в карьере, не помешало и на выборах в Думу в декабре 1995 г. Даже электорат Жириновского простил ему еврейское происхождение. Ельцин недрогнувшей рукой включал в кабинет министров евреев на ключевые посты, и это никак не тематизировалось в массмедиа.

4. Создается положительный образ симпатичного и дружественного нам Израиля, большая алия интерпретируется как шанс в отношениях между Россией и Израилем.

Так на наших глазах происходит то, что можно назвать "нормализацией" еврейского вопроса в русской культуре. Я еще раз подчеркиваю, что между этой нормализацией и уровнем антиеврейских чувств у населения нет прямой связи. Просто в новейших русских мифах евреям уже не отводится центральная роль, — в отличие от того, что было прежде.

Надежда БАНЧИК
Каринэ МКРТЧЯН

РУКОПИСНЫЕ СЛОВАРИ ПОЛЬСКИХ АРМЯН НАЧАЛА XVIII ВЕКА.

В коллекции армянских рукописных книг научной библиотеки Львовского государственного университета и Национального Института им. Оссолинских во Вроцлаве (Польша) есть два сходных словарика. Написанные, скорее всего, одним автором в начале XVIII в., они различаются лишь полнотой словарного состава.

В львовском словарике (№ 50) 203 страницы, во вроцлавском (№ 12098) — 385. Оба состоят из одних и тех же разделов : 1. "Еврейские слова". 2. "Слова, взятые из Гомеровских поэм... которые можно употреблять в современной поэзии". 3. "Переводы персидских слов из писания о Вардане". 4. "Слова [армянского языка], которые были забыты". 5. "Слова — поэтические синонимы для поучения неопытных с переводом на разговорный язык простонародья". 6. "Определения смысла вопросами". Порядок разделов приведён по львовской рукописи; во вроцлавской он несколько изменён.

По всей вероятности, сведения об авторе словариков даёт памятная запись во львовской рукописи: "Из писаний недостойного старца Симеона Сдедкевянца, попечителя церкви благоустроенного города Замостье 1720".

Все слова в рукописи написаны армянской графикой; "еврейские", т.е. слова библейского иврита, персидские и греческие ("гомеровы") слова транслитерированы и переведены на грабар.

Ивритско-армянская часть во львовском словаре занимает с. 1-31, во вроцлавском — 1-69, он полнее.

Слова библейского иврита в армянской транслитерации фонетически звучат очень близко к оригиналу, однако некоторые слова "арменезированы" (например, написано не *Ноах,* а *Ной*; переводится: "*спокойный; справедливый*"). Но самое главное, на наш взгляд, то, что словарь наглядно демонстрирует взаимосвязи и взаимовлияния между древними библейскими ивритом и грабаром, которые были гораздо сложнее и разнообразнее связей между современными ивритом и армянским.

Так некоторые слова "ивритской" и "армянской" колонок словаря имеют общие корни, различаясь формой, например, "ара**тэ**сил — **тэ**сак" (*око*) "**арье** — **арьюц**" (*лев*). Другие как бы "перетекали" из языка

в язык. Так во вроцлавском словаре находим: "*луйс*" (на иврит. стороне) — "*ор*" (на арм.), т.е. *свет*. В современном армянском "*луйс*" — *свет*, "*ор*" — *день*, а в современном иврите "*ор*" — *свет*. Подобных "перетеканий" довольно много. Несомненно, такие памятники переводческой культуры армян весьма интересны для лингвистов, их изучение требует сотрудничества специалистов по библейскому иврите и грабару.

Чем могло быть вызвано появление таких словариков в польском городе в начале XVIII-го века? Об этом можно лишь догадываться, воссоздав исторические обстоятельства.

Предыдущий XVII-й век был трудным для Польского королевства. Усиление католического фундаментализма, ужесточение борьбы с некатолическими конфессиями, национально-освободительное восстание Богдана Хмельницкого, турецкое нашествие на Украину — все эти кровавые события волнами бедствий захлёстывали города. И хотя они в основном обрушились на Украину, волны докатывались до Замостья. Они поставили местные армянские общины перед выбором: или оставаться в изоляции, храня верность национальной традиции и обрекая себя на вечные гонения, или интегрироваться в общество и культуру Польского королевства, подданными которого они были?

В острой драматичной борьбе мнений большинство армян избрало путь интеграции, первым шагом которой стало провозглашение унии армянской церкви Львова с Ватиканом (1630), открывшее возможность более широкого, чем прежде, участия армян в политической и культурной жизни Польши. И в этой деятельности огромную роль сыграли многовековые переводческие традиции армян, они обеспечили им должности переводчиков-секретарей при польских посольствах в Турции и Персии, широкое дипломатическое поприще. Так само совершенствование переводческого искусства стало одной из важнейших задач армян Польского королевства (тут надо упомянуть, что и некоторые польские евреи успешно трудились на этом поприще).

С другой стороны, словари отразили духовное сопротивление армян окатоличиванию. Судя по разделам, главной целью словарей было сохранение грабара, как живого языка. А иврит был тогда нужен армянам, скорее всего. чтобы подчеркнуть и закрепить связь с первозданными библейскими истоками, которая в армянской церкви всегда была живее и теснее, чем в католической.

К концу XVII в. практически все армянские общины Польши признали унию. В этих условиях словари Симеона Сдедкевянца стали, вероятно, одной из последних попыток польских армян спасти свою культурную самобытность, сохранить её для потомков.

НАШ ПОЕЗД УХОДИТ В ОСВЕНЦИМ

(Письмо Л.А. Аннинскому)

Дорогой Лев Александрович,

прочитала я Вашу "юбилейную" статью о пресловутой переписке Астафьева с Эйдельманом ("НОЙ", № 16). И решила написать Вам письмо. Эпистолярный жанр больше, чем все прочие, располагает к высказыванию даже самых тривиальных частных мнений, а всё, что здесь написано — лишь моё частное мнение, а точнее — попросту эмоции.

Если бы не Ваша статья, едва ли я даже вспомнила бы о той переписке десятилетней давности. "Еврейская тема" с тех пор не только перестала быть запретной — она стала модной; за прошедшие десять лет мы слышали и читали вещи покруче, чем эйдельмановские аргументы и астафьевские инвективы. Эйдельман и Астафьев, можно сказать, открыли тему.

Да, а десять лет назад я, как и многие другие, читала подмётные листки, перепечатанные на машинке, и, преодолев первый шок от зоологического антисемитизма Астафьева, осуждала... правильно, Эйдельмана. Точно так же, как и Вы в Вашей статье. Зачем писал? Зачем провоцировал? Зачем пустил по рукам? И вообще: зачем первый начал?

В этом-то всё и дело, правда, Лев Александрович? Еврей первым начал. И другие евреи подсознательно, "нутром" почуяли: надо скорее оправдаться, отмежеваться, "осудить вылазку" — благо есть за что: ведь провоцировал! ведь пустил по рукам! Помните, у поэта Яна Сатуновского:

Не шапируйте их,
Не провоцируйте!
Всякое упоминание
О нашем существовании
Есть уже ноль целых пять тысячных
Подготовки погрома...

Этот импульс, "рационализировавшись", и вылился в якобы объективные комментарии, попытки доказать, что Эйдельман не прав, а Астафьев прав не по поведению, а по существу.

На самом же деле по существу переписка напоминает мне — теперь напоминает, тогда-то я тоже пыталась рассуждать "объективно"

— знаменитое стихотворение Гейне "Диспут", где, по-моему, гениально уловлена суть любого спора иудея с юдофобом. Помните, Лев Александрович? Там спорят капуцин и раввин; если раввин пытается что-то объяснять и аргументировать, то все аргументы капуцина сводятся к потоку брани. Не откажу себе в удовольствии процитировать:

Иудеи! вы вампиры,
Носороги, крокодилы,
Кабаны, гиппопотамы,
Павианы и гориллы!
Совы, филины, вороны,
Пугачи, сычи, удоды,
Нечисть ночи василиски,
Богомерзкие уроды...

Поэтому столь абсурдны рассуждения, скажем, комментировавшего переписку Д.Самойлова, который всерьёз пытался определить: когда евреи вредили России, а когда Россия евреям. Да хоть бы и вовсе не вредили, или вредили всю дорогу — разве для юдофоба это имеет значение?

Потому что юдофобу — не докажешь. Он оперирует не логикой, а априорными мифами, воздействовать на которые неспособны ни аргументы, ни даже реальность.

Правда, Вы пишите: Астафьев не антисемит, никогда им не был и не будет. Да, Вы правы, не антисемит. Юдофоб. (Между этими словами, на мой взгляд, есть разница: *юдофобия* — болезнь (ср. гидрофобия), *антисемитизм* — идеология (ср. антикоммунизм). Отсюда и уровень возводимых им обвинений: уровень, достойный какой-нибудь тёти Дуси с коммунальной кухни. Но вот во что я не верю, Лев Александрович — это в "простодушие", которым Вы склонны объяснять его письмо. Напротив, мне кажется, что отношение к переписке было мастерски внушено нам всем не столько Эйдельманом, сколько Астафьевым. Его "простодушие" — художественный приём, призванный представить ситуацию именно такой, как мы её увидели: расчётливый и хитрый еврей "спровоцировал" простодушного русского писателя, и тот ему импульсивно и сбивчиво нахамил... Не слишком ли эта ситуация похожа на привычный стереотип, чтобы быть правдой?

Так что простодушен тут кто-то другой. Простодушны мы с вами. Простодушен мудрый Самойлов, всерьёз клюнувший на эту удочку. Простодушен — иного на скажешь! — Эйдельман с его дон-кихотским

письмом. Простодушны — и прекраснодушны — те, кто с притворной снисходительностью смотрит на юдофобские беснования:

"Я не верю в опасность нынешнего антисемитизма... Государственный антисемитизм смертельно опасен, от бытового же просто тошнит" (Б.Стругацкий).

В общем, "мы пол отциклюем, мы шторки повесим, чтоб нашему раю ни края, ни сноса..."

Один Горенштейн кричит и пророчит, но его, как водится, не хотят слушать.

Но много ли нужно, чтобы бытовой антисемитизм стал государственным? Пустяк: чтобы у власти оказался антисемит (не просто юдофоб), каковых сейчас к ней — к власти — рвётся ох как много. Много ли нужно для того, чтобы поезд отправился в Освенцим? Совсем чуть-чуть: антисемиты у власти, "поддержка и энтузиазм миллионов" и ... попустительство со стороны самих евреев.

Не буду делать вид, Лев Александрович, что знаю, как решить еврейский вопрос. Могу только сказать: Ваш ответ на этот вопрос не считаю очень удачным. Как и многие либерально настроенные евреи, Вы предлагаете: не замечать. Жить нормальной жизнью русского интеллигента, ассимилироваться, не говорить антисемиту, что он антисемит. (Почему? Авось, век проживёт и не узнает? Или ему и без нас об этом скажут?). До погрома. А в погром — сопротивляться.

Но если честно: разве погрома мы боимся? Нет, со времён черносотенных погромов (возможных, кстати, лишь в местах "компактного проживания", то бишь в черте оседлости) произошло кое-что ещё, пострашнее. Мало у кого даже из московских евреев никто не погиб в оккупации. Не знаю, сколько времени должно пройти, чтобы это забылось, а лишь забыв это, лишь твёрдо зная, что это не повторится, мы сможем жить "как нормальные русские интеллигенты", как предлагаете Вы.

Но такой уверенности нет и быть не может. "Идеология для фашизма найдена, и это уже немало... Найдены и образцы для фюреров... Найден враг. Это конечно же еврей..." Так совсем недавно сформулировала наши страхи православная христианка Зоя Крахмальникова.

Кстати, ведь многие до войны — и в Германии, и в России, действительно забыли о том, что они евреи. Но им напомнили. И вся двухсотлетняя ассимиляция пошла прахом.

А что до погрома, то он уже идёт. Не замечали? Правда, не физический — моральный. Но Вы считаете, что этому сопротивляться не надо, а надо обязательно дождаться, когда тебя придут убивать. А кто не хочет дожидаться — может ехать на Ближний Восток, пока не отпра-

вили на Дальний. Что ж, чем не выход? Не будет евреев — не будет и вопроса.

Лев Александрович, мне кажется, за мельтешением наших мотивов, страхов, комплексов, мы забываем одну азбучную истину, столь тривиальную, что её даже совестно повторять: ненависть к людям за то, что они принадлежат к некой нации — безнравственна. Это — зло. Евреи, может быть, и уйдут из России, а зло в душах — останется, и неизвестно, кому будет от этого хуже. Когда-то русская интеллигенция об этом знала. И не какого-нибудь Тинякова, а Розанова исключили из Религиозно-философского Общества за погромные статьи. И не какая-нибудь левая демократка, а З.Гиппиус писала: "Статьи в *Земщине*... делали Розанова "вредительным" общественно. От него уже нужно было — общественно — защищаться"...

Об этом же кричит Горенштейн. Об этом пытался сказать Эйдельман. Об этом пел Галич. Имеющий уши — да слышит. Не желающий слушать — пусть заткнёт уши. "Непротивление совести — удобнейшее из чудачеств..."

Ну вот, Лев Александрович, я и впала в морализаторский тон, уместный на трибуне, но никак не в частном письме. Видно, стук тех галичевских — "по рельсам, по сердцу, по коже" — мешает сосредоточиться.

Но если я что не так сказала, Вы меня извините. Отнесите это на счёт моего еврейского простодушия.

С уважением,

Ольга Бараш.

P.S. Лев Александрович, а может быть, всё-таки, скажем антисемитам, что они антисемиты? Вдруг хоть кому-нибудь стыдно станет? А?

Уважаемый редактор,

в одном из номеров "НОЯ" (№ 15) прочитал интервью Игоря Ачильдиева с Франциской Беккер "Зачем в Германии изучают евреев?" Я объясню, зачем немцы изучают и зачем зазывают нас к себе: они просто откармливают нас, как диковинных отстрелянных зверей, уничтоженное поголовье, популяцию. Уверен, вы не согласны с такой точкой зрения. Но, возможно, вашим читателям было бы интересно прочитать несколько страниц из книга Ашера Лода. Прилагаю их к своему письму.

Арон ФИНКЕЛЬ

Ашер ЛОД

КУСОЧЕК НЕМЕЦКОГО САЛА

Израильское телевидение показало фильм своего корреспондента в Западной Германии Михаэля Карпина под названием "Евреи и немцы". Двадцать минут отличной кинопублицистики. Два центральных эпизода: монолог Гельмута Шмидта на встрече с руководителями еврейской общины и монолог Михаэля Карпина на кладбище в Вормсе, старейшем еврейском кладбище в Европе.

Канцлера пригласили в синагогу по случаю очередной годовщины нацистской "хрустальной ночи". Ермолка на голове канцлера Западной Германии смотрится хуже, чем на других высокопоставленных головах, в число которых не входит голова Брежнева, избавленного от необходимости отмечать годовщины избиения еврейской интеллигенции визитом в Большую московскую синагогу. Евреи во все века жаждали аудиенций у разных великих калифов, и атмосферу встречи со Шмидтом создают не ермолка или другие ритуальные аксессуары, а сам факт свидания спецменьшинства с его высокопревосходительством.

В каждой чёрточке самоуверенного канцлера, в каждой нотке его менторского голоса проступает вельможа, не сомневающийся в непререкаемости своих суждений. Большинство его нынешних соотечественников, говорит канцлер, не запятнаны преступлениями нацистов, но в качестве народа и они не свободны от ответственности за эти преступления; с другой стороны, имена от Мендельсона до Эйнштейна не оставляют сомнения в том, что немецкие евреи всегда чувствовали себя в Германии немцами.

Это своё резюме канцлер роняет в почтительную тишину, которая услышала именно то, что и надеялась услышать.

Кадр меняется, перенося зрителя на луг, поросший немецкими маргаритками. Но нет, это не луг, маргаритки цветут вокруг замшелых надгробных плит со стёртыми надписями на древнем языке евреев. Михаэль Карпин выбирает эту съёмочную площадку, чтобы вежливо поспорить с успокоительными словами канцлера.

Карпин замечает, что канцлер не случайно начал перечисление плеяды знаменитых немецких евреев с Мендельсона — духовного отца еврейской эмансипации: Мендельсону в Германии предшествовало шестнадцать веков зверских гонений на евреев, о чём Шмидт деликатно умолчал. Я нахожусь в Вормсе, говорит Карпин, стою на древнейшем еврейском кладбище Европы и кое-что вам расскажу о нём.

Он обращается к своим сверстникам и соотечественникам сабрам, которые, по его словам, сладко дремлют на уроках еврейской истории.

А что знаем о своей истории мы — бывшие и настоящие советские евреи? Скажем, о той же Германии. Что нам известно, кроме того, что был Гитлер, а "теперь это уже не та Германия"? В Вормсе поработали крестоносцы, и, чтобы не принимать смерти от их меча, евреи сами накладывали на себя руки. Но чернь надругалась даже над трупами, давно истлевшими под ковром немецких маргариток. Однако почитаем страничку из счастливой эпохи Мендельсона. В Дрездене в 1882 году был созван международный конгресс антисемитов, потребовавший изгнания евреев из Европы. В Берлине Марр организовал антисемитскую лигу; его брошюра "Победа еврейства над Германией" выдержала несколько изданий. Трейчке, известный историк, рекомендовал возврат к временам бесправия евреев. Дюринг призывал к вытеснению евреев из государственной и общественной жизни и предостерегал от смешанных браков, могущих привести к "ожидовлению крови". Евреев выталкивали из ресторанов, били на улице и в вагонах. В Нейштетине, Гаммерштейне, Конице, Бублице, Ястрове начались погромы. В Скурце, в Ксантене, Сконице шли процессы по обвинению евреев в ритуальных убийствах. Придворный пастор Штеккер основал партию юдофобов. Правительству подавались петиции с требованием ограничить переселение евреев из других стран, убрать евреев с государственных должностей, не допускать к преподаванию в немецких школах.

Эту страничку я выписал из книги молодого философа Марка Вайнтроба об антисемитизме, изданной в Риге в 1927 году. Четыреста страниц этой книги, проникнутой идеей ухода евреев из галута как единственного средства спасения, убеждают, что французы, испанцы, италь-

янцы, англичане обращались с нами не лучше немцев. Автор, однако, не мог предвидеть, что ему самому уготована судьба евреев Вормса, и ровно через пятнадцать лет после выхода его книги он, Вайнтроб, проглотит цианистый калий, чтобы не унизить себя смертью от руки палачей.

Михаэль Карпин, израильтянин, отрекшийся от диаспоры, и потому довольно безучастный к ней и слегка её презирающий, внезапно вспыхивает, когда видит — и показывает нам — кадры чествования немцами их любимого юмориста — еврея Кишона. Книги Кишона расходятся в Германии миллионными тиражами; Кишон приезжает в Германию и участвует в карнавальном банкете с шутовской короной на голове, увеселяя присутствующих остроумным спичем на отличном немецком языке. Кишон — израильтянин, Кишон — бывший венгерский еврей, спасшийся из немецкого концлагеря.

Так что фильм Михаэля Карпина не о немцах, а о евреях. О нас, чьи предки после изгнания из Испании, наложили на неё "херем"*, остававшийся в силе четыре столетия. Нашего же уважения к своим мёртвым и к самим себе не хватило и на одно поколение.

Карпин показывает аэропорт в Кёльне, превратившийся в главную плодоовощную базу Израиля в Европе. Не называя жертву жертвой, а преступника — преступником, он изучает их противоестественную тягу друг к другу. Немецкие города стали побратимами израильских городов. Израильские школьники регулярно ездят в гости к немецким школьникам и принимают их у себя. Коммерция процветает. Я разъезжаю на немецком "фольксвагене", а мой сосед, бывший польский еврей, отказавшийся от репарационных немецких марок, по мнению одних, — чудак, а по мнению других, — и вовсе дурак.

Коренной израильтянин Карпин судит коренных израильтян. Он не говорит о нас, о репатриантах, пытающихся ущипнуть кусочек немецкого сала. Мы — нет, не все, разумеется, не все! — берёмся доказывать своё знание немецких колыбельных песен, чтобы выколотить немножко германского пособия на спокойную еврейскую старость. И мы — не все, разумеется, не все! — меняем Тель-Авив и Хайфу на Берлин и Аахен, не догадавшись, кажется, освоить заново только Вормс. Послушать таких новоявленных немцев из СССР через Израиль — не надо слушать канцлера Шмидта: они вам поклянутся памятью родной матери, погибшей от руки нацистов, что в Германии ныне пошёл иной немец, только и мечтающий о том, как бы услужить еврею.

---

* Х е р е м — отлучение от общины, одна из самых суровых мер наказания духовным судом.

Кажется, так оно и есть, если поглядеть на физиономии немецких поклонников Кишона на банкете. Мы обрели своё государство, но ещё не скоро обретём достоинство средневековых вормсских евреев.

Из книги "Призмы". Иерусалим — Санкт-Петербург. 1992.

ПИСЬМО РЕДАКТОРУ

Иерусалимский университет,
Институт еврейской истории им. Бенциона Динура

Г-н Варжапетян!

Читая № 14 журнала "НОЙ", я обратил внимание на вашу заметку об убийстве Ицхака Рабина. Не могу принять Вашу точку зрения. Знаю, что у Вас были добрые намерения, но если Вы стремитесь к улучшению армяно-еврейских отношений, то должны понимать, как чувствительны евреи к обвинению их в убийстве Христа, ибо они слишком много от этого претерпели. Евреи — не богоубийцы и не цареубийцы, исключения здесь крайне редки. А что касается трагедии с Иисусом (Йешуа), то у римлян были свои интересы, а евреи были по обе стороны... Винить их — всё равно что утверждать: Сократа убили греки. А что касается Рабина, я думаю, принципиальное отличие периода Второго Храма, завершённого в 70 г., и Третьего, начавшегося в 1948 г., состоит в том, что теперь мы научились останавливаться на пороге гражданской войны. Убийство Рабина привело к политическому кризису и заставило нас заглянуть в бездну. Оно привело к политическому катарсису, заставило нас заглянуть себе в душу, и это очистило отравленную политическую атмосферу, которую Вы наблюдали во время своего приезда в Израиль.

С наилучшими пожеланиями,
Абрахам Гринбаум.

16 мая 1996

перевод с английского О.Боровой

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО БОГДАНУ ВАСИЛЬЕВИЧУ РЕЗУНУ

Высокочтимый Богдан Васильевич!

Перечитал книгу Вашего сына Владимира Богдановича (Виктора Суворова) "Ледокол". Книгу удивительную и по сути своей, и по выводам, и по манере изложения. Но более всего меня потрясли слова, обращённые к Вам: "Мой отец был моей первой жертвой. Я у него просил прощения. Он меня не простил. И я снова прошу прощения у своего отца. Перед всей Россией. На коленях".

Я старше Вашего сына на одиннадцать лет. Мой отец Александр Васильевич Коняшов, политрук Красной Армии, погиб в июле 1941 года. Потом у меня появился отчим — герой Гражданской войны, большевик с апреля 1917 года. Будучи солдатом Первой мировой войны, он был приговорён к расстрелу правительством Керенского, как изменник Родины, освобождён в октябре (ноябре 1917-го), избран солдатами командиром полка, впоследствии командовал бригадой, дивизией. Орденом боевого Красного Знамени награждён за операцию портив белополяков под Оршей, был хорошо знаком с Григорием Котовским, Михаилом Фрунзе, батькой Махно (когда тот вполне искренне сотрудничал с Красной Армией) и другими историческими персонами. С уважением относился Борис Максимович к Владимиру Ильичу Ленину и люто ненавидел товарища Сталина, считая его узурпатором и губителем Октябрьской революции. Не знаю, каким образом ему удалось уцелеть. Но убеждён: случись ему прочитать "Ледокол", он подписался бы под каждой строкой этой книги.

После смерти Сталина в 1953 году отчим многое рассказал мне о Гражданской войне, делился мыслями о "гениальности" Сталина. Опыт и интуиция военного человека подсказывали ему те предположения, которые Ваш сын весьма убедительно подтвердил уникальными по объёму и кропотливости историческими исследованиями.

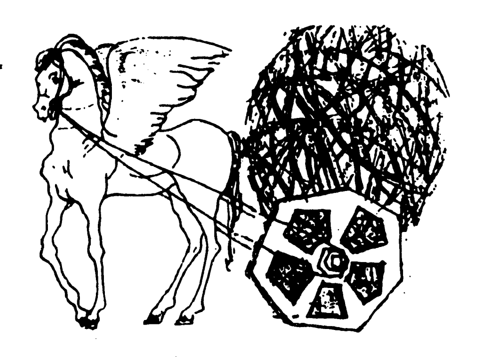
Только тупость и пресловутая "честь мундира" не позволяют современным военным историкам признать если не правоту автора "Ледокола", то хотя бы его право на такую точку зрения. Лично я не разделяю её, но совсем по другой причине: мне ближе позиция Владимира Юровицкого, который не менее убедительно, чем Ваш сын, высказывает предположение о прямом предательстве Сталина.

Извините за многословие, мне просто хотелось убедить Вас, что сегодня в России "преступные" взгляды Вашего сына разделяют многие люди, которые любят Отчизну не меньше политиков и генералов.

Богдан Васильевич, в память обо всех павших в Гражданской и Отечественной войнах прошу, умоляю Вас не просто простить Владимира Богдановича, но и самому попросить у него прощения. Одному Богу известно, на какие страдания ради истины обрёк себя Ваш сын. Он не только не виноват перед Вами и перед Россией, но встал в один ряд с теми, чей подвиг помогал и помогает России сохранить честь и достоинство перед лицом потомков, перед судом Создателя.

С уважением и верой,
Марк Александрович Коняшов.

Июль 1995 г.
Москва



ПРАЗДНИК ПЕРЕВОДЧИКА

Элия ЛЕВИТА (Элияhу БАХУР)

ПРЕДИСЛОВИЕ К КНИГЕ "ПЕРЕДАЧА МАСОРЫ" (*)

Этот перевод обязан своим появлением на свет раввину доктору Йосефу Леви, познакомившему своих учеников с творениями Левиты, и Юлии Шлейфман, которая не только вдохновила меня на эту работу, но и провела немало часов, вместе со мной разбирая текст, — огромное спасибо им обоим.

Элия Левита (1468/9, Германия — 1549, Италия) был известным учёным, грамматиком и лексикографом, он обучал римских кардиналов иврит и переводил на идиш итальянские романы — но не будем говорить о нём слишком много, он сам о себе расскажет в этой удивительной смеси научной полемики с оправданиями и теологии с саморекламой.

Он знает Писания наизусть, его текст усыпан цитатами — то из Писаний, то из Талмуда, то из Данте. (Те из них, которые мне удалось опознать и перевести близко к тексту, отмечены курсивом и звёздочкой; в конце даются примечания к отмеченным строкам.) Я попыталась хоть отчасти воссоздать этот эффект, вставив в перевод несколько цитат из знакомых нам русских поэтов.

В книге "Передача масоры" не одно, а три предисловия (два в стихах, одно в прозе). Надеюсь, и остальные предисловия, и сам текст книги когда-нибудь дождутся перевода.

РЕЧЬ ЭЛИИ ЛЕВИТЫ,
Грамматика и пииты,
Присылающего *мысли издалека* (*)
Об установлении законов (*) языка
И об устройстве науки,

Как произносить большие и малые звуки (*),
В немногих словах,
В учёных трудах,
Которые понемногу
Пробили себе дорогу (*) —
Четыре малых создания (*),
Все — о языкознании.
Сначала я написал
Книгу, которую назвал
"Пути, что к познанию ведут" —
Её пользу все признают;
Затем "Книгу Избранного", что меня прославила (*)
И всех грамматиков *позади оставила* (*);
Затем "Книгу сочетания",
Где собраны иноязычные слова Писания,
И, наконец, "Главы Элии" —
Вот творения мои.
И эти четыре чада (*)
Мне награда и отрада:
Из переиздают, и почитают,
И на язык гоев перелагают;
Обрезанные и необрезанные их читают
И внимательно изучают.
Всюду слух о них летит,
Всюду слава гремит,
Они благоухают, *как драгоценный елей* (*),
И служат гордости моей:
Ведь — скажу вам честно —
Такого до сих пор не известно,
Чтоб Бог писателя наградил
И настолько при жизни отличил,
Чтоб его книги *чтили и знали* (*)
И по нескольку раз переиздавали,
Как он меня отличил —
А я *ещё жив и полон сил* (*),
И *мудрость множить* (*) готов,
И обучать ей учеников,
Дабы и они от неё вкусили;
И вот теперь меня окружили
Мои ученики, и почитатели,
И *все мои прежние приятели* (*),
И просят меня об одном;

"Заклинаем тебя Творцом!
Ради Господа и ради святости Торы —
Расскажи нам историю масоры!
Ты ведь этим занимаешься
И в этих вещах разбираешься
Мощною десницей
Так, как и не снится
Никому из мужей нашего поколения!
Внемли же нашим молениям."
Эти речи я с радостью встретил
И так на них ответил:
— Я прислушался к вашим словам
Их исполнить обещаю вам.
Ибо, клянусь Господом, случилось,
Что эта мысль во мне зародилась
Ещё в то время,
Когда я жил в Риме
И писал там те сочинения,
О которых уже упоминал ранее.
Но тогда я не сумел
Сделать то, что хотел:
Город завоевали (*),
Злые времена настали (*),
И мечта осталась мечтой.
Я тогда был молодой.
Но теперь, когда
Преклонны мои года (*),
И Бог меня удостоил
И в новом месте приют мне устроил —
В Венеции благословенной,
Великой и несравненной (*), —
Я к вашей просьбе снизойду
И во Израиле такое произведу,
Что кто ни узрит,
Лишь о том и заговорит:
Труд доселе небывалый
О масоре, большой и малой,
Ибо *вот уж двадцать лет* (*)
Я хочу его выпустить в свет,
Дать масоре разъясненье,
Показать её происхожденье,

От ошибок предостеречь
И раскрыть её речь,
Доселе скрытую между строк,
Словно в книге, закрытой на замок.
Сколько я над этим сидел,
И трудился, и корпел,
Не почивал, не отдыхал (*) —
Всё книги изучал.
Множество книг, мудрых и верных,
Изучил я преусердно,
И, клянусь, *не раз и не два* (*) —
Бог свидетель, правдивы мои слова! —
Мне случалось провести
День или два (*) в пути,
Если я узнавал,
От кого-нибудь слыхал,
Что в том месте смогу достать
Версию Писаний, которой можно доверять.
Эту рукопись я брал,
Внимательно проверял,
И если верна была молва —
Переписывал из неё слова (*),
Благие и верные (*),
Словно роза меж терниев (*).
Оказалось, в большинстве случаев
Самые точные и самые лучшие
Версии Писания —
В книгах из Испании.
На них я и полагался (*)
И их стези держался,
Дабы их мудрость сохранить.
Однако жажду утолить
Моя душа могла,
Лишь когда пила
Из книги "Ахла ве-охла" (*),
Из которой я перенял
Много правил и применял.
Обойди хоть целый свет —
Этой книжечке равных нет:
Другой книги, в которой
Объяснялась бы масора,

В мире больше нету —
Одна лишь эта,
Не считая того, что есть —
Чуть-чуть там, чуть-чуть здесь (*) —
На полях самих Писаний, где *недостатков не счесть* (*),
Ибо переписчики всё искажали
И неправильно писали,
Это и немудрено:
Их заботило одно —
Чтоб строки были одной длины,
И со всех сторон равны,
И нигде не вылезали,
Да ещё и украшали
Завитушками, и цветами,
И всякими хвостами,
Украшают-украшают,
А потом места не хватает!
И приходилось сокращать —
А то, наоборот, нагромождать
Целые башни украшений
Да посторонних выражений:
Из другого места брали
И в рукопись вставляли,
Хоть им тут и не место —
Лишь бы заполнить место!
А в других местах, бывало,
Им уж места не хватало,
И ничего не разобрать:
Приходилось обрывать
Прямо на полуслове —
И такое им не внове!
Всех их грехов не описать...
Правда, надобно сказать,
Что 24 книги Писания
Вышли здесь (*) в новом издании:
Я не видел никогда
Столь прекрасного труда, —
Такого тщательного оформления
И такого замечательного расположения.
Подготовил их муж учёный,
Знаменитый и просвещённый;

Во Израиле он звался (*) Яаков (**),
Да завяжется его душа в пять узлов (*).
На вид работа достойна похвал,
Но он то и дело *спотыкался и блуждал* (*),
И были там ошибки и лжесвидетельства
В неисчислимых количествах,
И понятно, почему:
Браться пришлось ему
За новое ремесло,
А начало всегда тяжело.
Я же, рук не покладая,
Лени не уступая,
Трудился, не жалея сил (*),
И *свет от тьмы отделил* (*),
И установил в них порядок,
И *оставил расстояние от стада до стада* (*), —
И вот, занимаясь этим,
Я нашёл такое, чего на свете
Ещё никто не мог взять в толк
(И тем я выполнил свой долг) —
Нашёл вещи, которые доселе
Не видели и не разумели:
Ведь для людей наших времён
Все вопросы передачи письмен
До сих пор были скрыты
Или полностью забыты,
И не многие в силах понять их суть,
Да и те в глазах их суть
Словно сон без толкованья,
Которому нет применения (*):
Ничего не видят и не внемлют,
Ибо в темноте дремлют.
А ведь назначенье масоры —
Служить *оградою для Торы* (*),
Где из каждого стиха
Выводится галаха (*),
И законы, и сказанья,
И правила, и толкованья, —
Здесь даже имеет значенье,
Есть ли в тексте "матерь чтения" (*):
Например, "*Не следуй за большинством в споре*" (*) —

"Спор" пишется без гласной, согласно масоре;
Или вот *"На косяках дома твоего"* (*):
Второй гласной нет — косяка достаточно и одного;
И из прочих мест канона
Вычисляются законы.
Это я и изложу
И всё точно расскажу
И о законах, и об их применении
В этом небольшом сочинении;
Расскажу в немногих словах
О драгоценнейших вещах (*),
Что *лишь недавно появились* (*),
Не с сотворения мира находились (*),
И *взошли на небосвод* (*),
И сияют нам с высот —
Мудрые меня поймут (*)
И в Писании найдут
То, что было скрыто доныне,
И да будет моё имя
На устах тех книгочеев,
Гоев и евреев,
Что нашу Тору почитают
И с моей помощью изучают.
Клянусь Творцом, что именно гой,
Христианин, и никто другой,
На этот путь меня навёл
И сюда меня привёл:
Он был моим учеником,
И лет десять его дом
Был и моим — я у него жил
И Тору вместе с ним учил.
За это меня многие ругают
И заслугой не считают;
И некоторые раввины
Показывают мне спины
И недовольны мною,
Что я преподавал тору гою, —
Ибо и Псалмы утверждают:
"Ведь другие народы законов не знают" (*) —
Но я не поленюсь
И перед ними извинюсь,

Расскажу всё, что было со мною,
И ничего не скрою.
В двести шестьдесят девятом году (*)
Поднялось злодеяние, на беду (*),
Пáдую, где я жил,
Неприятель захватил,
Разграбил и разорил,
Жилище моё было опустошено (*)
И, как навоз, сожжено (*),
Как и всё множество израильтян, что истреблены (*),
А те, кто не погиб, всего лишены,
И выпало на их долю
Много мук и много боли,
И пришлось мне *во главе изгнанников* (*) бежать
И в новом месте приют искать.
Через некоторое время
Оказался я в Риме,
А там был, как я узнал,
Достославный кардинал,
Мудрый, как Иедидия (*),
Звали его кардинал Эджидия (*).
Я узреть его решил
И *во дворец его пришёл* (*).
Он спросил, кто я такой.
Я ответил: "Знайте, господин мой,
Что я, имярек, —
Учёный человек,
Грамматик из Германии,
Науку и Писания
Так хорошо изучивший
И руку в этом деле набивший,
Что ни один человек
Меня уж вовек
Не превзойдёт ни в знании,
Ни в искусстве выражения:
Ибо я учил учёных
И превосходил непревзойдённых.
Я учился не только у знатоков,
Но и у своих же учеников —
Как сказал рабби Иуда (*),
Один из мужей Талмуда:

"Я многому научился у учителей,
Ещё больше — у друзей,
Но больше, чем у тех и у других, —
У учеников своих" (*).
Едва он это услыхал —
Вскочил и *ко мне подбежал* (*)
И облобызал меня, вопя:
"Вы ли это, господин мой Элия?! —
Чья слава все страны облетела (*),
Не зная ни границ, ни пределов,
Чьи сочинения обошли
Все города земли?
Будь благословен Творец,
Который привел вас в мой дворец!
Вот что: с этого же дня
Оставайтесь у меня!
Вы будете моим учителем,
А я вам буду отцом и родителем,
Вы будете меня учить,
А я буду кормить и поить
Вас и всю вашу семью
И за ценой не постою."
Вот так нам сойтись случилось,
И *железо о железо точилось* (*):
Я свой дух на него излучал
И сам от него получал
Знания благие и прекрасные
И с истиной согласные —
Ибо мудрец завещал:
"*Принимай истину, кто бы её ни сказал*" (*).
А теперь я объяснюсь
И, если нужно, извинюсь;
Я открыто признаю,
Будто пред судом стою:
Да, действительно, не скрою,
Мне приходилось учить гоев,
Но знайте, что и после сих вещей,
Благодаренье Богу, я еврей
И поклоняюсь Богу сил,
Что небо и землю сотворил (*).
Я не совершал никаких преступлений (*)

И не нарушал ничьих наставлений!
Ведь что мудрецы постановили?
"Слова Торы гоям передавать" (*) запретили —
То есть не сказали, что нельзя преподавать!
А только — что нельзя ПЕРЕДАВАТЬ
Вещи, требующие особого наставления,
Такие, как сотворение мира, колесница, "Книга творения", —
Вот их-то открывают лишь посвящённым,
Сынам Израиля мудрым и просвещённым,
А заниматься с недостойными учениками —
Это *всё равно, что к праще привязывать камень* (*),
Всё равно что *бросать камень в языческие сооружения* (*),
Хочешь посрамить, а получается поклонение! —
И ещё сказано: *кто недостойному Тору преподаёт* (*) —
Тот *в страданиях в ад сойдёт* (*),
И душа его в ужасе замрёт,
И *нераздутый огонь его пожрёт* (*).
Так ведь здесь имеется в виду только израильтянин,
Не идумеянин, не исмаильтянин!
А вот и ещё свидетельство из Гемары (*):
Можно передавать ТАЙНЫ Торы
Лишь обладающему пятью свойствами непременными (*):
Человеку *пожилому и почтенному* (*)
И так далее, как у Исайи говорится,
И на этом мы можем остановиться.
Итак, мудрецы не выносили постановления,
Будто учить гоя — это преступление,
И стало быть, я не виноват;
И потом, они же сами говорят,
Что можно учить гоя
Семи заповедям сынов Ноя! (*)
А разве можно его обучить
И в эти семь заповедей посвятить,
И растолковать их ученику,
Не обучив его прежде языку?
И потом, замечу вкратце,
Что здесь я могу сослаться
На великих мужей прежних времён
(Я не достоин называть их имён),
Чей мизинец моих чресел толще (*), —
Которые учили гоев ещё больше!

Из них одни доселе живы,
Другие уже ушли в мир счастливый,
Среди них были раввины и учёные,
И *пожилые и почтенные*,
И мудрецы, и врачи,
И утопающие в роскоши богачи —
Так что ж тут такого, если и я,
У которого такая большая семья, —
Человек униженный и оскорблённый,
И *путами бедности оплетённый* (*),
И корыто моё разбито,
И поле моё размыто,
И не растёт на нём *ни злак, ни рожь* (*),
А только мрак и дрожь,
И посеяно на нём запретное семя,
И *дважды обмануло меня* (*) время —
В Падуе забрало моё добро
И в Риме до меня добралось:
в 287 году (*),
На беду, другого слова не найду,
Рим был осаждён,
И разграблен, и разорён;
И остался я с семьёй
Без гроша за душой,
И постигла нас беда (*),
Наступили холода,
А в доме ни одежды, ни хлеба, ни дров,
И мать своим телом греет птенцов,
А дочери выросли и хотят мужа,
И с каждым днём жизнь всё хуже, —
В таком отчаянном положении
Человек схватится и не за такое предложение!
Надеюсь, после такого объяснения
Мне простят моё небольшое прегрешение.
Ведь правило таково:
Спасение жизни важнее всего (*).
И ещё я должен сказать,
И все должны об этом узнать:
Я клянусь и подтверждаю,
Что все гои, которых я знаю,
Которых учил я или другие, —

Люди достойные и отнюдь не плохие,
И евреям то и дело
Помогали словом и делом!
То есть если гой наш язык изучает —
Это нас же и спасает!
Это снимает с меня обвинения
И даёт и мне надежду на спасение.
И потом,
Я ведь в основном
Преподаю — и евреям, и гоям, —
Грамматику, а не что-нибудь другое!
Но если при этом кто-нибудь из них
Захочет прочесть из Писания стих,
То разве этот стих объяснить, —
Значит так уж согрешить?
И потом, если я не стану объяснять, —
Разве он сам не сможет его понять
С помощью моих книг,
Которые всё объясняют вмиг? —
Читающий их *обретает успокоение* (*),
Потому-то в непрестанном стремлении
Гои, *приблизиться* к языку *желающие*,
Каждый день ко мне обращаются (*).
И если я рассказываю то, что они хотят знать, —
Разве можно меня за это упрекать
И считать меня каким-то негодяем,
Если я их просьбу выполняю?
А если и я от них что-то брал,
Открывал уста и вкушал (*)
Доброго разумения (*) сладкий плод,
Приятные речи — сотовый мёд (*),
Который из их уст сочился и стекал,
И съедал сердцевину, а несъедобное оставлял,
И *безвкусный сок мальвы* (*) и не думал съедать, —
За то, что я съел чуть-чуть мёда — мне умирать?! (*)
Итак, о мудрецы, примите мои объяснения,
И да смолкнут ваши обвинения (*) —
Вы видите, конечно,
Что я извинился вполне чистосердечно,
И запретов, Боже упаси, не отменяю,
И всё сказанное принимаю,
И Бог любит честных,
И теперь вам всё известно.

ПРИМЕЧАНИЯ

(*) "Масора — свод указаний, служащих сохранению канонизированного текста Библии и нормативов его оформления при переписывании" (Краткая Еврейская Энциклопедия).
(3) Исайя 25:1.
(4) Исход 15:25.
(6) Вероятно, гласные и согласные.
(10) Бытие 38:29.
(11) Притчи 30:24.
(17) Одно из имён Левиты — Элияһу Бахур ("Избранный")
(18) Исайя 44:25.
(23) Даниил 1:17.
(31) Псалмы 133:2.
(37) Эстер 9:28.
(40) Иехезкель 7:13.
(41) Исайя 28:29.
(46) Иов 42:11.
(69) В 1527 году; цитата из Захарии 14:2.
(70) Экклезиаст 12:1.
(73-74) Бытие 18:12 (слова Сарры).
(78) Иона 3:3.
(85) Бытие 31:41.
(95) Иов 3:26.
(99) Цари II, 6:10.
(102) Исход 21:21.
(110) Иов 32:15.
(111) Самуил II, 15:3.
(112) Песнь песней 2:2.
(117) Псалмы 71:6.
(123) "Ахла ве-охла" — "тематический сборник масоретского материала, содержащий, в частности, список в сотни пар одинаково и уникально огласованных слов" (Краткая Еврейская Энциклопедия, статья "Масора").
(133) Исайя 28:10,13.
(134) Экклезиаст 1:15.
(164) В типографии Даниэля Бомберга в Венеции, где Левита служил корректором.
(171*) Второзаконие 25:10.
(171**) Яаков бен Хаим Ибн Адония (1470?-1535?), издатель и комментатор "Микраот гдолот" (первого критического издания Священного Писания).

(172) В оригинале "Да будет его душа завязана в дырявый узел" — вместо обычной формулы "Да будет его душа завязана в узел жизни", которая произносится при упоминании умершего и соответствует русскому "Царствие ему небесное". Дело в том, что упоминаемый автором Яаков к моменту написания текста не умер, а крестился.
(174) Исайя 28:7.
(183) Экклезиаст 2:11.
(184) Бытие 1:4.
(186) Бытие 32:16.
(200) Экклезиаст 2:11.
(204) Мишна Авот 1:1 и 3:17.
(206) Галаха — правила, регламентирующие как религиозные обряды,так и повседневную жизнь.
(210) "Матерь чтения" (mater lectionis, "эм hа-криа") — буква, обозначающая гласный звук; написание многих слов в иврите варьируется и может быть "полным" (с "матерью чтения") или "неполным" (без неё).
(211) Исход 23:2.
(213) Второзаконие 6:9.
(222) Это главный тезис книги Левиты: огласовки и другие знаки масоры появились сравнительно недавно.
(223) Второзаконие 32:17.
(224) Исайя 48:7.
(225) Бытие 1:15.
(227) Даниил 12:10.
(250) Псалмы 147:20.
(255) 1509 год.
(256) Иехезкель 7:11.
(260) Иеремия 10:25.
(261) Цари I, 14:10.
(262) Цари II, 7:13.
(266) Амос 6:7.
(272) Иедидия — имя, данное пророком Натаном царю Соломону (Самуил II, 12:25).
(273) Точнее, Эджидио де Витербо.
(275) Псалмы 27:4.
(292) Точнее, рабби Иеhуда hа-Наси ("Предводитель"), кодификатор Мишны.
(294-297) Талмуд Макот 10:А.
(299) Бытие 33:4 и др.
(302) Эсфирь 9:4.
(317) Притчи 27:17.

(323) Вероятно, имеются в виду слова Бен-Зомы "Кто мудр? —тот, кто учится у каждого человека" (Мишна Авот, 4:1).
(331-3) Иона 1:9.
(334) Иов 34:10.
(337) Талмуд Хагига 13:А.
(345) Притчи 26:8.
(346) Талмуд Санhедрин 64:А.
(348) Талмуд Макот 10:А, Хулин 133:А.
(349) Бытие 42:38 и др.
(351) Иов 20:26.
(354) Гемара — комментарии к Мишне, образующие Талмуд.
(356) Талмуд Хагига 13:А.
(357) Исайя 9:14.
(365) "Семь заповедей сынов Ноя" — заповеди, касающиеся всех народов мира, в отличие от "Десяти заповедей", наложенных на евреев; они предписывают судопроизводство и запрещают убийство, идолопоклонство, разврат, разбой и употребление мяса, отрезанного от живого животного (Талмуд Санhедрин 74:Б и др.).
(374) Цари I, 12:10.
(385) Иов 36:8.
(388) Второзаконие 8:8.
(391) Бытие 27:36.
(394) 1527 год.
(400) Даниил 12:1.
(411) "Спасение жизни" — галахический принцип, запрещающий выполнять предписания религии, если их выполнение влечёт за собой угрозу для жизни (отсюда следует, например, что лечить больного в субботу не только можно, но и нужно). Талмуд Йома 82:А, Ктубот 19:А.
(436) Иеремия 6:16.
(438-439) Исайя 58:2 (вместо "ищут Меня каждый день... желают приблизиться к Богу").
(445) Иехезкель 3:2.
(446) Псалмы 119:66.
(447) Притчи 16:24.
(450) Иов 6:6.
(451) Самуил I, 14:43 (слова Ионатана, сына Саула; эти же слова в другой трактовке стали эпиграфом к поэме Лермонтова "Мцыри").
(453) Числа 17:25.

вступление и перевод с иврита Рахели Торпусман

Андрэ МАТОСЯН

* * *

И здесь под чёрными небесами,
Где ангелы смерти клянут себя сами,
Лопнула вдруг кожура апельсина
Железная — это война всех косила.

Признал ад и рай, что на гордой земле
Есть пара, что бродит то в счастье, то в зле,
Стремясь под конец всё отдать небесам,
Подобно супругам, что ищут *сезам*...

Открыло ли небо, что ночью глубокой
Зерно мирозданья восходит высоко,
Чтоб миру явить это счастье лучей,
Пронзающих время, костра горячей!

перевод с французского Инессы Миронер

Шогик САФЬЯН (1916-1995)

ЖЕНЩИНОЙ ТОЙ Я БЫЛА...

Женщиной той я была, для которой,
прямо из хищной пасти вырвут добычу.
Быть бы тебе тем рыбаком безрассудным,
что в море открытое выйдет, берег покинув милый,
всепоглощающих волн ужас грозящий презрев.
Тем, кто однажды вернётся с богатым уловом,
парус к родному утёсу стремя.
Быть бы тебе лучником, всё стрелою разящим,
или борцом, что победительней всех.
Если рабом — гладиатором только.

Если царём — Соломоном премудрым среди царей.
А кузнецом — так Гефестом.
Жертвою — только Христом.
Если прекрасным, то красотою армянской Ваагна,
солнца, что ведает всё на горизонтах своих.
Только не огненно-рыж — чернобород, черноглаз.
Кроме того, дорогой, той я была,
которой верность хранят в любви,
той, с которой мечтают обрести мир в доме, огонь — в очаге.
Но, мой любимый, ты не охотник безумный,
ты не бесстрашный лучник,
не гладиатор,
не царь царей Соломон
и не Гефест.
Ты — странствующий певец, что пленяет жалобой сердце.

ТАНЕЦ НА КАНАТЕ*

Всего несколько лет прошло...
Несколько лет с тех времён, когда плясуны
восхищали меня своей игрой на канате.
Несколько лет с тех времён.
Нет, не из детства влекло то искушенье меня.
На страх и на риск играючи шла любовь по струне
— твоя и моя — на глазах всего мира.
Гибкость любви, звенящей на незримой струне,
что от сердца тянется к сердцу, являли мы всем.
Непредставимую гибкость...
Потом это чудо исчезло.
Впрочем, и не было чуда.
Просто канат перетёрся и оборвался однажды.
Вот во дворе пляшут опять на канате,
но не бегу я глядеть на игру, как когда-то...
мне страшно.

---

* Լարախաղաց (*арм.*) — букв. игра на струне.

РУКИ

Глаза мои любишь ты — они от тоски по тебе рассветают.
Склонясь под взглядом твоим, стен касаясь огня языками,
мерцают они — не меркнет очаг.
Ты любишь улыбку мою.
Когда тебя вижу, цветёт моё сердце, лучась,
как эта долина на лета исходе, и я улыбаюсь тебе.
И ты мою любишь улыбку.
Ты любишь моё чарованье.
Но разве чарую, когда мне кажется,
целый мир — мой, и ты — самый мой в этом мире.
Ты волосы любишь мои.
Смягчается сердце твоё, их блеском на солнце любуясь,
и ты мои волосы любишь.
Всё любишь ты — всё, что даровано мною тебе —
и сердце, и нежность, и поступь,
и мягкость, и дерзость бесстрашья,
и... верность, что верность в ответ не взыскует.
Лишь рук ты не любишь моих.
В густеющей сети прожилок, усталых, увядших,
как осенью лист виноградный...
Так скоро увяли они, говорят...
И ты их не любишь — усталых и старых.
В мгновения кратких блаженств,
когда я искала глазами, улыбкой тебя находила,
когда мои чары пленяли, и волосы воспламенялись
в тоски твоей жарком дыханьи, —
о, руки мои были в небе другом —
над землёй материнства.
Они от зари до темна не знали покоя —
латали и шили, пекли и варили, скоблили и мыли,
от слёз утирали другие глаза, утешая, лаская...
О, руки мои.
Усталые, словно корой загрубелой покрытые руки, —
они не жалели себя, не щадили себя.
Себя для любви не сберегшие руки мои.
Нет, ты их не любишь.
К рукам ты ревнуешь моим.

ЗА ГОРОЙ ЗЕЛЁНОЙ

Ты далеко, далеко, далеко...
Ущелья и горы, и реки с морями тебя от меня отделяют.
Ущелья и горы, и реки с морями стоят между нами — я знаю.
Я знаю, и всё же — не верю.
Мне кажется вечно — ты там, за горою зеленой,
лишь горой заслонило тебя, той, что на самом краю
села моего. Той горою зелёной, на которую взошёл ты
однажды и скрылся, сошёл стороною другою,
ущелья и горы прошёл, и реки с морями...
Пойми же, не верится мне в твой уход.
И кажется вечно — ты там, за горою зелёной.
Так чудится вдруг, что взбегу, одолею вершину
и увижу тебя за горою зелёной.
Я раз попытала счастья. Безумно, безумно бежала —
взбежала, вершины достигла, но... там,
на том склоне зелёном тебя не нашла,
мой любимый. Тебя не нашла, не увидела.
Что ж не нашла? Что ж вижу, как прежде —
стоишь ты за этой горою зелёной, и если
одним мановеньем могучей незримой руки
отвести эту гору, увижу тебя наяву —
обо мне ты тоскуешь.
А если всё ложь и неправда, тогда, мой любимый,
иди, уходи, ступай же дорогой своей...
Пройди ущелья и горы, и реки с морями,
но только не стой за зелёной горой — горизонтом.
Не стой же, меня не зови.

НЕ ПОМНЮ, ТО МАМА МОЯ ИЛИ Я...

Не помню, то мама моя или я... Она
рассказала ли мне или со мной это было — не помню.
Кротка и робка, иду за водой к роднику,
с кувшином на плече.
В тени двух насупленных скал старцы сидят в два ряда
вдоль дороги, по середине села проходящей.
Мрачно расселись, беседуют, чётки перебирают.
То ли мама моя, то ли я... Босиком за водой к роднику

иду с кувшином на плече. Кротка и стыдлива,
под ноги глядя, ступаю... Зёрнышки чёток
на миг замолкают у старцев в руках, хмурые взгляды
скользят с ног на медный кувшин.
Мама моя или я, не помню, иду по тропинке
под взглядами их, трепеща, с молчанием
в сердце твердеющих зёрнышек чёток.
Какая-то девочка, я или мама...
Ступаю тропинкой под взглядами их... и не оступаюсь.
Нет, мне нельзя оступиться. Застенчиво, кротко,
огонь затаив в глазах под сенью ресниц,
должна я пройти, не сбивая шага.
Таких лишь любили в нашем селе.
И годы прошли с той поры. Не помню, я или мама...
Так научилась ходить по земле —
по дороге, идущей посредине села,
под хмурыми взглядами старцев.
Там, кротко и смело, ступать научилась,
под сенью спокойной ресниц огонь своих глаз тая.

СЕДЬМАЯ СВЕЧА

Мать была верующей.
Каждое воскресенье она зажигала свечи
в Божьем храме — семь свечей. Слабые огоньки
тонких жёлтых палочек вспыхивали искрами
в полутьме древнего храма, скупо озаряя
склонённое лицо матери.
Брат её странствовал в дальних морях.
Первую свечу она зажигала за брата, за солнце жизни его,
чтобы с чужбины возвратился он к погасшему отчему очагу.
Вторую свечу она зажигала, смягчая сиянье
радостных глаз, за того, кто был её судьбою,
за то, чтоб вовеки сияла сень его над её головой,
чтобы чужое солнце не сжало с его головы
ни одного золотистого волоса.
И вот, сдерживая лёгкую дрожь пальцев,
они чистила залитые воском гнёздышки подсвечников
и зажигала одну за другой четыре свечи,
ставя их рядом и следя, дабы ни одна

не пошатнулась, не наклонилась.
За детей своих зажигала она эти четыре свечи.
А когда наступал черёд седьмой свечи,
во всём существе её материнском, во взгляде её
выражалось какое-то странное колебание.
Трепетала душа, но тихим и спокойным было лицо.
Высоко держа седьмую свечу, она ставила её
твёрдой рукой во утешение Бога-Отца
и во спасение души...
Её Бог прощал всех, благом и жизнью овеивал мир,
перенося в душе моря страданий,
тая´ озёра слёз в очах,
ношу тяжких грехов неся на плечах,
будучи Сам страждущим и одиноким,
тоскующим по слову милости, по росинке слезы
материнской...
За Сына-Бога страдальца зажигала она седьмую свечу.
Более матерью была она на земле, нежели верующей.

перевод с армянского Гаянэ Ахвердян

СОДЕРЖАНИЕ

НОЙ

נח

יח